

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 18

1980



*Яков КИСЕЛЕВ*

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

**СУДЕБНЫЕ БЫЛИ**



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 18

Яков КИСЕЛЕВ

# СУДЕБНЫЕ БЫЛИ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1980

## Яков КИСЕЛЕВ

*Яков Семенович Киселев родился в 1896 году в г. Днепропетровске (б. Екатеринослав). Участник гражданской войны. Окончил Московский университет. В 1923 году работал адвокатом в г. Днепропетровске. С 1924 года и поныне работает адвокатом в Ленинградской городской коллегии адвокатов.*

*Изданы его «Судебные речи» (два издания), «Этика адвоката», «Началось с проступка», «Вымогатели» и ряд научных работ. Его рассказы и очерки печатались в «Огоньке», в «Знамени», «Звезде», «Авроре», в «Литературной газете», в журнале «Человек и закон», в «Социалистической законности», в альманахах «Молодая гвардия» и др.*

*Я. С. Киселев награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.*

## ТОЛЬКО ЛИ СВИДЕТЕЛИ?

Виноват ли Ковалев в смерти своей жены?

Чтобы верно ответить на этот вопрос, судьям необходимо было возможно полнее разобраться в характерах не только Нины Федоровны и Николая Сергеевича Ковалевых, но и некоторых свидетелей. Они — свидетели, только свидетели. Но как много эти люди сделали для того, чтобы беда в семье Ковалевых переросла в трагедию.

Семья Ковалевых была прочной, устойчиво наладившейся. И, как это ни странно, прочной она была именно потому, что Нина Федоровна и Николай Сергеевич Ковалевы были разными по темпераменту, наклонностям и даже вкусам. Несхожесть, даже противоречивость характеров нисколько не отдаляла их друг от друга: каждый находил в другом то, чего ему не хватало.

Легкая в общении, мягкая, слегка флегматичная, Нина Федоровна больше всего дорожила покоем, безмятежностью, душевной тишиной. Не знала Нина Федоровна ни смутных, неопределенных мечтаний, ни будоражащей душу неудовлетворенности. Ни к чему неосуществимому ее не тянуло, многого от жизни она не требовала. Однажды сестра Нины Федоровны спросила у нее, что она больше всего ценит в своем муже, и услышала в ответ: «Я для него — младший ребенок в семье». До чего же, оказывается, приятно и удобно чувствовать себя ребенком: ничего мало-мальски серьезного решать самой не приходится — тебе подскажут; а если сделаешь что-нибудь не так, то ведь строго не взыщется: ребенок защищен своей незащищенностью. Нину Федоровну это устраивало, и она ничего не хотела менять в укладе своей жизни.

Не хотел этого и Николай Сергеевич. Его трогала, умиляла и радовала «детскость» жены. Сильный, энергичный, он испытывал потребность опекать, заботиться, охранять и... господствовать. Если господствовать, то, конечно же, без всяких ограничений. Ковалев ничего не умел делать наполовину. Радовался или огорчался, дружил или перечеркивал дружбу, трудился

или внезапно остывал к работе — все в полную силу, сплеча, взахлеб!

И чувства его к жене не укладывались в привычные рамки. Сестра Нины Ковалевой, Евгения Федоровна Бармина, — о ней еще придется рассказать — сказала в суде: «Николай с каждым днем все больше влюблялся в Нину! Было похоже на то, что он за тринадцать лет никак не мог привыкнуть к мысли, что она его жена!»

Частой гостьей в семье Ковалевых была Евгения Федоровна Бармина. Это было совершенно естественно: сестра навещает сестру. Но за последние три года Бармина стала проявлять какой-то повышенный, пожалуй, болезненный интерес к тому, как шла семейная жизнь Ковалевых. Любая мелочь в отношениях между Ниной и ее мужем замечалась Барминой, застревала в памяти и нередко вызывала чувства, в которых она бы не хотела и самой себе признаться.

Евгения Федоровна Бармина, старшая из сестер, была красива рано расцветшей красотой. Она знала, что красива. Знала и ценила это. В красоте ей виделся этаким гарантийный талон на жизнь в сплошном благоденствии, пропуск в труднодоступный узкий мир баловней судьбы. В своем будущем Бармина была уверена.

Едва окончив школу, она вышла замуж за человека, сулившего ей блестящую будущность. Прошло немного времени, и молодая женщина поняла, как тяжело ошиблась в своем выборе. Беззастенчивый, хотя и вдохновенный враль, пустельга, мастер пускать пыль в глаза — единственное, что он умел делать, — и вдобавок алкоголик, вот кем оказался ее муж. Два года она мучилась и наконец развелась. Вскоре она вновь вышла замуж. Жизнь Барминой со вторым мужем сложилась удачно, жили они хорошо и радостно. Родился у них сын. Счастье было полным, тем безысходней стало несчастье: в автомобильной катастрофе погибли муж и сын. Недюжинные силы требовались, чтобы как-то справиться с отчаянием. Евгения Федоровна выстояла. Но, еще не оправившись от постигшей ее беды, вышла замуж в третий раз. И была сурово наказана за свою торопливость. Новый избранник начисто обобрал ее и скрылся. Так иссякла вера в магический «талон» на счастье. Теперь она видела в себе неудачницу, навсегда обреченную на прозябание. И это все больше озлобляло и ожесточало Бармину.

А рядом жила младшая сестра, Нина, самая что ни на есть заурядная, скучновато-тихая на вкус Барминой, а ко всему еще страдающая физическим недостатком: она чуть припадала на левую ногу. И вот такую любил, окружал заботой, был ей верен человек яркий, сильный, красивый. И вскоре Бармина ста-

ла ловить себя на том, что ее раздражало, огорчало, а то и вывело из себя любое проявление любви, заботы и даже простого внимания Ковалева к жене.

В переживаниях старшей сестры не было ничего загадочного — просто зависть. Но скажи это Барминой, она бы яростно возражала. Завидует сестре? Вздор! Удивлена — и только. Нине досталось счастье явно неза заслуженное. Незаслуженному счастью можно только удивляться, но если оно еще и несправедливо, то тут недалеко от того, чтобы начать устранять несправедливость. Даже если это и причинит сестре боль. Как нередко бывает с озлобленными, ожесточившимися людьми, Бармина научилась самоутешительно обманывать и самое себя, в собственных глазах она не завистница, нет, она — страж справедливости.

Нина Федоровна первой заметила перемену в Барминой. Однажды в незначительной ссоре между сестрами старшая выплеснула:

«За что тебе такое счастье? — Бармина не то спрашивала, не то предупреждала. — За что? Помяни мое слово. Николай тебя бросит. Ты прекрасно знаешь, почему это случится. И я знаю. Он тебе не простит. Бросит. По справедливости так и должно быть».

Младшая сестра не возмутилась, не обиделась. Она испугалась! До того испугалась, что весь разговор с Барминой передала своей ближайшей подруге, Курбановой, выступившей впоследствии свидетельницей.

Чего испугалась Нина Федоровна?

Лет семь назад Ковалев был в длительной зарубежной командировке, а сестры жили в Саратове. Там и встретилась Нина Федоровна со Скворцовым. Нину Федоровну никак не отнесешь к искательницам легких приключений. Никакого внезапного, молнией поражающего чувства Скворцов в ней не вызвал. Никакими исключительными достоинствами не обладал. С ним было весело — вот и все! О связи со Скворцовым знала старшая сестра. Знала во всех деталях. Можно с уверенностью считать, представляя себе характер Нины Федоровны, что она о Скворцове и вспоминать не вспоминала. Все быльем поросло. А старшая сестра, оказывается, ничего не забыла. И хотя Нина Федоровна, очевидно, не допускала мысли, что Евгения предаст ее, все же испугалась. И не напрасно.

Радея о справедливости, только о ней одной, Бармина уже и не старалась обуздать все обостряющееся желание приоткрыть Ковалеву глаза на правду.

Приоткрывала на всякий случай осторожно, все больше намеком, недосказкой. Вот как будто проговорила: «При тебе

она тихоня, воды не замутит, а в Саратове...» — и оборвет, ждет, не спросит ли Ковалев о недоговоренном.

В следующий раз Бармина, «заботясь» о Нине, упрекнула ее в присутствии мужа: «Не следишь за собой, посмотри, какую хламиду напялила. А в Саратове, небось, в еде не только себе, но и Мишеньке отказывала, лишь бы прифрантиться». Упрекнула и замолчала. Молчал и Ковалев. Словно ничего не слышал. Только нахмурился.

Бармина торжествовала: почва разрыхлена, самое время бросать семена подозрений. И как же она была поражена, когда Ковалев, едва она начала свое очередное: «А помнишь, в Саратове...» — вскочил и закричал: «Вон! Вон из моего дома!»

И все же втихомолку, в часы, когда Ковалев на работе, сестры встречались. 19 июня Ковалев освободился раньше обычного. На лестнице он нагнал Бармину. «Гонишь тебя, — сказал Ковалев, — а ты ходишь. Не смей! С тобой водиться — в грязи извозиться». «Я чище, чем твоя жена», — вспыхнула Бармина. И тут же выложила все, что знала о Скворцове, ничего не забыла, ничего не упустила. Облегчив душу, ушла. Ушла, увидев, что Ковалев поверил ей.

Он и вправду поверил, но все же частица спасительного сомнения жила в нем. Гонимый яростью и затаенной надеждой, Ковалев ворвался в дом, втащил Нину в спальню, закрыл дверь и с перекошенным лицом прохрипел: «Твоя сестра мне все рассказала. Не сознаешься — убью!» Смертельно перепуганная, потрясенная внезапностью разоблачения, Нина не имела сил отрицать правду.

Теперь, после признания Нины, не осталось и самой малой частицы сомнения, мгновенно распалось, смрадно рассыпалось в прах все то, что в течение тринадцати лет так горячо, радостно и гордо нес Ковалев в своем сердце. Сама глубина его любви, непоколебимости веры в Нину нестерпимым стыдом жгли его. Слепая, угарная ярость бушевала в Ковалеве. Он отшвырнул от себя Нину с такой силой, что, падая, она рассекла лоб о спинку кровати. А когда Нина поднялась, Ковалев ударил ее по лицу.

Обеспамятев от ужаса, Нина выскочила на лестничную площадку и, рыдая, с окровавленным лицом, стала звонить в соседнюю квартиру. Укрывшись от мужа у соседей, Нина Федорова, вконец потеряв власть над собой, рассказала о том, что призналась мужу в неверности. Кто знает, может быть, рассказала еще и потому, что неосознанно хотела, чтобы муж не выглядел оголтелым хулиганом, давшим себе волю.

Ковалевы жили в ведомственном доме, где почти все знали друг друга. Как быстро растеклись признания Нины Федоров-



ны по дому, как подхватила их обывательщина и принялась расцвечивать вымышленными подробностями!

Живым олицетворением этой обывательщины прошла перед судом свидетельница Гранаткина. Как о чем-то не только естественном, но даже в какой-то мере обязательном, она говорила в суде:

— Едва я узнала, что Николай Сергеевич избил свою Ничку, я сейчас же побежала к ним.

— Зачем? — спросили ее.

— Как это зачем? — удивилась Гранаткина. — Надо же было точнее все узнать.

Если бы дело ограничилось тем, что всевозможные гранаткины посудачили, посмаковали не лишнее пикантности происшествие, то заметного влияния на судьбу Ковалевых это не оказало бы. Но вечером 20 июня к Нине Федоровне явилась пожилая женщина. «Мы с вами не знакомы, — сказала пришедшая, — но прошу вас верить, что я полна самого горячего к вам сочувствия. Я глубочайшим образом возмущена поведением вашего мужа». И, не давая опомниться Нине Федоровне, отрекомендовавшись Александрой Александровной Лабодиной, она стала горячо убеждать, что нельзя, ни в коем случае «нельзя оставить безнаказанной эту чуждую и даже враждебную нашим нравам выходку мужа». Нет-нет, пусть Нина Федоровна не возражает, прощать нельзя. Это не только ее, Лабодиной, точка зрения, это мнение всей домовой общественности.

Лабодина не была ни склочницей, ни любительницей скандалов, сладострастно их раздувающей. Она была человеком, которому всегда все было ясно, а особенно ясно, как должны поступать другие, в каких бы ситуациях они ни оказались. И ее вмешательство в чужую жизнь было тем решительнее, чем крепче она веровала, что ратует за справедливость.

Несколько дней Ковалев не возвращался домой, не зная, как ему и Нине жить дальше. Наконец пришел — сумрачный, отчужденный, но с твердой решимостью не возвращаться к прошлому. Он не вынес приговора Нине, но и не простил: пусть время все разрешит.

За эти дни много перестрадала и передумала Нина Федоровна. Страхом, только страхом перед тем, что она теряет мужа, что семья идет к развалу, можно объяснить ту наивную до нелепости, беспомощную и, конечно же, осложнившую и без того тяжкую обстановку «ложь во спасение», к которой Нина Федоровна прибегла. Она настаивает на том, чтобы муж ее выслушал. Нехотя, хмуро тот соглашается. Жена клянется: она никогда ему не изменяла, ничего между ней и Скворцовым не было, а подтвердила выдумку сестры только потому, что боя-

лась еще больше разъярить мужа своим отрицанием вины. Ковалев слушает, не перебивает, но Нина Федоровна чувствует: не верит! Она плачет, вновь и вновь клянется, что не виновна. Ковалев молча слушал ее, а потом сказал: пусть Нина подумает над тем, что она говорит сейчас. Не нужно больше лжи! Что было, то было, с тех пор прошло много времени, может быть, удастся не думать об этом, забыть, может быть, все будет по-хорошему, но для этого надо, чтобы он мог верить ей, знать, что и ей теперь невыносима ложь. Однако если ей и сейчас не страшно лгать, то ведь не остается никакой надежды. Между тем Нина Федоровна все еще оставалась во власти своего заблуждения: все будет спасено, если муж поверит в ее ложь. И она продолжала лгать.

Через два дня Нина Федоровна сама ужаснется этой лжи. Но раскаяние ее запоздало. К тому времени Ковалев был уже на полпути к Саратову, чтобы встретиться со Скворцовым. Дикое решение, необъяснимое... если не знать натуры Ковалева. Ему была нужна правда, и он ее добудет. И добыл: «саратовский рыцарь», трясая мелкой дрожью, со слезой повинулся.

Ковалев возвращается в Ленинград. Теперь он знает правду, всю, до конца. Осталось еще два-три часа пути, и он будет дома. И внезапно Ковалева настигает душевная просветленность, он прозревает: «Мне тяжело, но насколько тяжелее ей, моей бедной Нине! Ей страшно за себя, за детей, за меня, ее мучает раскаяние, она не находит себе места от сознания, что ничего не может сделать, ей приходится ждать, только ждать того, что сделаю я».

Николай Сергеевич — человек горячий и стремительный, он легко поддается порыву. И самому высокому. Нина не только прощена. Теперь он озабочен тем, как сделать, чтобы она легко, не терзаясь собственной виной, перенесла это прощение, как сразу же показать ей, ни на миг не продлевая ее мук, что она для него — прежняя. В Любани Ковалев покупает большой букет цветов. Нина Федоровна встретила мужа на вокзале. Она взяла с собой сыновей. Возможно, для того, чтобы напомнить Ковалеву: я — мать твоих детей. Увидев букет, Нина Федоровна все поняла и зарыдала.

Казалось бы, мир вернулся в семью Ковалевых. Но, к несчастью, это только казалось.

Есть люди, которые способны на благородный поступок, даже на подвиг, но сделать они это могут только в порыве, мгновенном и стремительном. Но их не хватает на будничную, длянущуюся из дня в день доброту. Таким был и Ковалев. Ему, по-

жалуй, легче закрыть грудью амбразуру, чем ежедневно в течение многих месяцев тщательно чистить винтовку.

Прошла неделя. Накал высоких чувств в Ковалеве пошел на убыль, в памяти все неотступнее возникали разные штришки из рассказа Барминой и признаний Скворцова, и в Ковалеве вновь разгорались гнев и боль. Скрыть их он не умел. Оказывается, великим и трудным умением прощать Ковалев не обладал.

Правда, не было больше возмутительных сцен, не было даже словесных попреков. Но от этого легче не становилось. Ковалев приходил домой сумрачный, суровый, чужой. Истерзанный сам, он терзал Нину Федоровну, всем своим видом говоря: «Не простил. Ничего не забыл!»

Измучив и Нину Федоровну и себя, Ковалев рывком, без видимой причины менялся, его словно подхватывало и несло добрым ветром, вдруг он становился нежным и заботливым. Но светлая полоса недолго длилась, после нее дни отчуждения переживались еще больнее. Нина Федоровна уже ни на что не надеялась, она поняла: муж не простит! Непривычная к трудностям, долгими годами заботливо опекаемая, она, столкнувшись с подлинной бедой, и не пыталась ничего изменить, все глубже погружаясь в безысходность.

У Нины Федоровны не хватало сил таить страдания. Она стала искать сочувствия и сама не заметила, как раздула начавшие было гаснуть пересуды и толки. Соседка, приютившая Нину Федоровну в тот злополучный вечер 19 июня, первой ринулась в «бой».

— Я было подумала, дорогая Нина Федоровна, — сказала она, — что вам стоит поменять квартиру, уехать из нашего дома. Но потом поняла, что это бесполезно.

— Почему? — недоумевавшая спросила Нина Федоровна.

Соседка укоризненно покачала головой:

— Ваш Миша все равно будет дружить с ребятами из нашего двора. И все от них узнает.

Как мать могла такое сказать матери?!

«Потеряла мужа, теряю детей. Зачем мне жить?» — исходила мукой Нина Федоровна. И она все чаще возвращалась к мысли о самоубийстве. Миг решимости — и навсегда покой. И все же Нина Федоровна едва ли решилась бы покончить с собой, если бы положение в семье, и без того изматывавшее душу, не осложнилось самым неожиданным обстоятельством. Впрочем, едва ли будет точным назвать его столь уж неожиданным, оно ведь результат упорных, всевозрастающих усилий Александры Александровны Лабодиной. В ней, Лабодиной, оказывается, было оскорблено — так она считала — чувство

справедливости. А справедливость, по Лабодиной, совсем легко и постигается и достигается: совершил человек ошибку, единственное, что можно и должно с ним сделать, — это наказать его. И чем строже, тем лучше: другим неповадно будет. И долг Лабодиной — способствовать наказанию нарушителя Ковалева. При этом, если говорить прямо, ее несколько не заботила судьба Нины Федоровны, чьей непрошеной заступницей она выступала.

Ковалев не должен остаться безнаказанным: об этом Лабодина писала из инстанции в инстанцию. Сначала писала одна: безрезультатно. Тогда под требованием «Покарайте Ковалева!» она заполучила еще несколько подписей.

От Ковалева запросили объяснений. Ничто не могло заставить его рассказать о неверности жены, о том, что им было пережито, и поэтому в его объяснениях действительно постыдное поведение 19 июня ничем не было смягчено. Ковалева сурово осудила общественность, и он вынужден был оставить работу. Ковалев воспринял это как крах, так много работа значила для него. И в этой своей служебной беде готов был винить жену больше, чем себя. Но он ничего не сказал ей. Она сама себе сказала: «Из-за меня, из-за меня все это произошло».

\* \* \*

Есть законы, в которых с особой ясностью видна их гуманность. Таков закон, по которому к суровой ответственности привлекается тот, кто своим жестоким обращением довел до самоубийства зависящего от него человека.

«Я не толкнул Нину на самоубийство, но я не сумел удержать ее», — сказал Ковалев в суде.

Только ли не удержал или и подтолкнул — это и решал суд. И решил. Осудил Ковалева за доведение жены до самоубийства, признав, что первопричиной ее решения уйти из жизни было поведение мужа.

А Бармина, Лабодина, Гранаткина — они свидетели, только свидетели. И тут нет ни малейшего нарушения закона. И ничто не делает их сущность такой понятной и такой отталкивающей, как то, что они для самих себя, в своем ответе перед своей совестью считали и продолжают считать себя свидетелями, только свидетелями.

Давая показания, они не испытывали ни стыда, ни раскаяния. Даже когда неоспоримо выявлялась их самая непосредственная причастность к трагическому распаду семьи Ковалевых, они напрочь отвергали право хоть в чем-нибудь их упрекнуть. Да, они не спорят — грустная, очень грустная произошла исто-

рия, но ведь они, свидетели, ничего иного не сделали, как только открыли глаза на правду. Сначала Ковалеву, потом его жене, а затем и другим. Открывали они глаза на правду, радея о справедливости. За что им себя осуждать?

Судьи внимательно их слушали, старались понять: что это — способ самозащиты? Ссылкой на благородные побуждения пытаются оправдать дрянные поступки? А может быть, еще хуже? Они искренни. Они и впрямь считают себя вправе вливаться в чужую жизнь, выволакивать на всеобщее обозрение глубоко интимное в ней, причинять страдания, беречь души, и только потому, что, на их взгляд, они очищают нравы, отстаивают справедливость.

Отзывчивость, готовность помочь в беде, добиться справедливости — замечательные человеческие свойства, но судьи, сталкиваясь с жизненными сложностями, знают, что если «радеть о справедливости» принимаются люди очерствелые, безразличные к человеческой боли, нравственно безответственные, то ничего, кроме зла, это принести не может.

## С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ БЕДА

Уже заканчивался прием в юридической консультации, когда в кабинет к адвокату вошел высокий, худощавый человек. Нерешительно помялся у двери и потом, словно преодолев барьер, прошел к столу. Сел. Но заговорил не сразу. Адвокат не прерывал затянувшегося молчания, зная, что не всегда легко рассказать о своей беде. Наконец, посетитель тихо, рассекая фразу паузами, сказал:

— Не согласились бы вы взять на себя защиту моей жены? Следствие уже закончено. Ее обвиняют в покушении на убийство.

— Кого?

— Нашей Олюшки... дочки. Анна признала себя виновной.

Так началось знакомство адвоката с Василием Гладышевым, так началось знакомство с делом Анны Гладышевой.

Девятнадцатилетней девушкой пришла Анна на первую в своей жизни работу в тот цех, где работал мастером двадцатисемилетний Василий Гладышев.

Едва ли можно встретить двух людей, которые, казалось бы, так мало подошли друг другу, как Василий и Анна, — а они меньше чем через год после первой встречи стали мужем и женой. Вот уж кто вправе был сказать о себе: «Были чужды наши дали, были разны наши сны». Впрочем, насчет «дали» —

это не совсем верно, Анна была так полна настоящим, полна до самого края, что ни в какие дали и не заглядывала. В ее девятнадцать лет ей все, что ни встретится, было по нраву, по вкусу, по душе. А больше всего она сама себе. И это нисколько не было самодовольством, которое всегда и туповато и неприятно. Анна жила в том счастливом душевном состоянии, когда ощущение собственной привлекательности, молодости и здоровья делает жизнь радостью, все и все к тебе ласковы и приветливы. Относилась Анна к людям доверчиво и просто, а вглядываться в них не хотела и не умела.

А Василий Гладышев был из тех, в кого нужно вглядеться—только тогда увидишь и ум, и волю, и способность сильно и глубоко чувствовать. Если что было полностью чуждо молодому мастеру, так это стремление произвести впечатление, сделать из своих достоинств витрину, казаться вместо того, чтобы быть. Ничего в нем не было напоказ. Тихого, спокойного, нисколько не броского, его бы и не заметила Анна, если бы не то, что к молодому мастеру так хорошо и уважительно относились в цехе, если бы не то, что Наташа Стахова, самая красивая девушка в цехе, а как смущалась и терялась, когда к ней обращался молодой мастер. Сам он со всеми ровен и спокоен, но когда приходилось ему делать Анне даже вполне заслуженное замечание, делал это так, словно не то в своей вине кается, не то прощения просит. Прошло немного времени, и Анна полностью уверилась, что у молодого мастера только и света, что в ней одной. И, не раздумывая, так же легко и беззаботно, как жила, пошла за него замуж. Вышла замуж и была довольна. И замужем, оказывается, быть неплохо. Даже радовалась, что в доме она самая главная, все по ее слову делается, любовь Василия и тешила ее и чем-то льстила.

Так прошло несколько месяцев. И Анна не очень ясно, но почувствовала, что ей чего-то не хватает, стала она чем-то тяготиться. Непрестанная мягкость и ласковость Василия временами раздражали ее, казались ей доказательством его слабохарактерности. Бывало, без всякой причины начинает корить мужа, ссоры ищет, только ничего у нее не получалось, ссориться-то ведь возможно вдвоем, а Василий только улыбнется в ответ—и все! Анну даже зло брало, чего это он ей все спускает.

«Поверите,— рассказывала она адвокату намного позже, когда преступление уже было совершено,— у меня бы на душе посветлело, дай он мне почувствовать свою мужнину власть».

Видя, что адвокат не совсем ее понимает, удивилась:

«Думаете, велика радость женщине верховодить в доме? Мне все хотелось над собой мужнину руку слышать, хотелось

мужа выше себя ставить. Гордиться им хотела. Да разве это с Василием возможно? Какой бы он там ни был на заводе, в доме он — простокваша. Так я тогда чувствовала».

Анна старалась гнать от себя худые мысли, не хотела мужа обижать, ведь он перед ней не виноват. Так она тогда считала. А прошло еще года два, и стала она винить мужа. И еще как!

Когда к концу первого года замужества родилась Олюшка, молодая мать вновь почувствовала себя счастливой. Даже недовольства Василием как не было. Но прошел еще год, второй, пошел третий, и врачи признали: «Олюшка отстает в развитии. И, возможно, отсталой и останется». Анна, высокая, молодая, крепкая, каждая кровинка в ней пляшет, решила, как все решала, в один миг, без раздумья, бесповоротно: это Василий, тихоня бескостный, во всем виноват, это он ущербный, свою ущербность Олюшке передал. И сразу же, всем сердцем поверив в это, возненавидела мужа.

Ничего таить в себе Анна не умела. Она все мужу и выложила. Возмутился Василий? Нет. Стал переубеждать? Нет, не стал. Считал, что сейчас это бесполезно. Верил, пройдет какое-то время, и она поймет, что не права. Но время не помогло. Олюшка росла, неполноценность ее становилась все очевиднее. А Анна, все сильнее, почти болезненно любя Олюшку, только укреплялась в своей ненависти к «виновнику зла».

Все больше любила Олюшку. Так как же случилось, что любящая мать покушалась на жизнь своего ребенка?

На шестом году жизни Олюшки, Анна Гладышева, 26-летняя женщина, вменяемая, отравила ее, отравила и себя. Ребенок и мать были отвезены в больницу. Анну Гладышеву выхостили врачи. С трудом, но сохранили ей жизнь. Спасли и ребенка. Но он остался инвалидом. Анну Гладышеву предали суду. По просьбе ее мужа адвокат принял на себя ее защиту.

Гладышев ему сказал: от следователя он знает, что Анна ничего не объясняет, только согласилась с тем, что хотела убить Олюшку потому, что умственно отсталая дочь была ей в тягость. А почему задумала покончить с собой, Анна ни слова ни говорит.

— А вы не догадываетесь? — спросил адвокат и тут же почувствовал, что вторгся в запретное.

— Я думаю, что вам Аня все расскажет, — ответил Гладышев.

Придя в тюрьму к Гладышевой, адвокат сказал ей, что защищает по просьбе ее мужа.

— Заботится? — спросила она, и не разобрать, не то она удивилась, не то огорчилась. Помолчав немного, сказала:

— А зачем меня защищать?

Сказала и смутилась. Мать, едва ли не детоубийца, смутилась от мысли, что отказ от защиты может как-то обидеть незнакомого ей человека.

И правда, зачем ей защита? От чего адвокат сможет защитить ее? От нее самой? От боли за изувеченного ребенка? Защищать ее во имя нравственных начал, заложенных в нашем процессе? Что они ей сейчас, эти нравственные начала нашего суда? Защищать ее от излишней суровости приговора? Никакое наказание не покажется ей суровым, никакое обвинение — несправедливым.

Но это сейчас так. А потянутся месяц за месяцем в заключении, время приглушит остроту самоосуждения, не уничтожит, конечно, но приглушит, как тогда она воспримет приговор? И разве в том беспощадном и суровом суде, который она вершит над собой, ей не нужна помощь? Ее нужно защищать. Но как ее убедить в этом?

И тут адвокату становится ясной та мысль, которая все время, пока он читал дело, всплывала и ускользала, не принимая отчетливой формы, и он сказал:

— Защищать вас нужно хотя бы ради вашего мужа.

Гладышева удивилась.

— Чтобы снять с него подозрения, — стал адвокат ей пояснять свою мысль. — Вы признали, что собирались убить Олюшку потому, что хотели от нее избавиться. Но это ведь неправда! Если вы решили умереть вместе с ней, то кого вы хотели избавить от тягот воспитания больного ребенка? Не себя же! Кого, кроме вашего мужа? Выходит, для него это сделали. Хотя нигде мужа не называете, а все же молча, но на него показываете.

— И вы ему это сказали? — в страшном испуге спросила Гладышева.

— Нет, мне самому это только сейчас стало ясно.

— Ни при чем он здесь, совсем ни при чем! — стала она меня уверять.

— Верю. Но...

— Не могу! — сказала она с таким отчаянием, что почувствовалось: нельзя настаивать, как бы это ни было важно для дела. — Не могу рассказать.

Адвокат молчал. И неожиданно с той же решительностью и искренностью, с какой она отказывалась что-либо открыть, она вдруг сказала:

— Хорошо, я вам все скажу.

И она действительно рассказала то, о чем умолчала на следствии.



Года два назад в том цехе, где тогда работала Анна,— а она переменяла цех, чтобы не быть под началом у своего мужа,— появился новый наладчик, Сергей Ватагин. Веселый, душа нараспашку, дерзкий, себе цену знает. Над таким никто верх не возьмет. Посмотришь на него, и стыдно станет горевать. И кто его знает, отчего, может быть, оттого, что хмуро и тяжело жилось последние годы Анне, что стосковалась по легкости и веселью, которых раньше так много было в ее жизни и так мало осталось, но потянулась она к Сергею Ватагину. Очертя голову потянулась, и сама себе дивилась: прибежит к Сергею — и нет в ней ни стыда, ни раскаяния, только радость. Иногда мелькнет мысль: а что если муж узнает? Но отмахивалась от нее. Да и по всему видно, что он ни о чем не догадывался. Рохля и есть рохля.

С каждой встречей Сергей становился все ближе и нужнее ей. Да и как могло быть иначе: ведь Сергей — ее первая, а если говорить точно, и единственная любовь.

Это и обернулось для нее бедой.

Их встречи длились два года. Сергей Ватагин учился в техникуме. Окончив его, он перешел на другую работу.

Уверенный в своей правоте, ничего так и не поняв в чувстве Анны к нему, он неожиданно-негаданно пришел к ней домой (в первый раз пришел, раньше никогда не бывал) и прямо с порога:

— Лучше, Аннушка, все тебе сразу сказать, знаешь ведь меня, я без обмана живу. Надо нам с собой расстаться. За то, что было у нас, спасибо, а теперь мне свою жизнь устроить. Техникум кончил, да и годы подходят. И надо мне жену, себе ровню, найти. А зла на меня не держи, не за что. Разве я тебе что обещал?

Повернулся и ушел. А Анна и шевельнуться не могла. Все слова, что сказал Сергей, помнит, а понять не может, распадаются на разрозненные бессмысленные звуки. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы на другой день вновь не пришел Сергей:

— Не могу без тебя!

И только тогда заплакала Аня. От боли, от радости и бог весть еще отчего. И еще оттого, что поверила Сергею.

А недели через две-три вспыхнула между ними ссора, и Сергей брякнул:

— Думаешь, я к тебе по собственной воле вернулся? Меня твой благоверный уговорил.

— Не думайте,— сказала Гладышева,— Сергей не соврал.

И Гладышева рассказала адвокату удивительную историю, рассказала о любви Василия, о любви, полной такой глубины,

чистоты и такого редчайшего, действительно безграничного самоотречения, что просто дух захватывает. Оказывается, Василий все знал! Едва ли не с самого начала встреч Анны и Ватагина. Знал и молчал. Да что там молчал, ни малейшего вида не подавал. Вел себя так, чтобы Анне и в голову не могло прийти, что он хоть что-нибудь подозревает. Знал, что жена его молчания не поймет. И не простит. И им придется расстаться. А не уходил не ради себя, ради Анны. Понимал то, чего не понимала она: нужна она Ватагину только как мужнина жена. А оставит ее муж, и Ватагин тут же ее бросит. Принять к себе Анну, да еще с больным ребенком, нет, на это Ватагин не способен. А из гордости Анна, брошенная Ватагиным, к мужу не вернется. И будет она мучиться с Олюшкой. Вот Василий и молчал. И еще все делал для того, чтобы тайком от жены убедить ее от любого неосторожного шага, после которого нельзя будет делать вид, что ничего не известно про Сергея.

— Но вы еще не все знаете, — я вам скажу, что меня доконало. В тот раз, когда Сергей сказал мне, что нам придется расстаться, он, уходя, на лестнице встретился с Василием. И придя домой, Василий, увидев меня, понял, что стряслась беда. И хотите — верьте, хотите — не верьте, знаете, на что он решился? Вы только не думайте, если мне все спускал, что он не гордый, гордый он, душу свою в чести держит, ни к кому на поклон не пойдет, а тут на что решился? Он пошел к Ватагину! Муж пошел к любовнику. Через все перешагнул: через стыд, через муку свою. Пошел, чтобы Ватагин как-то унял мою боль. Пошел, ничего на свете не видя, кроме меня. А когда Ватагин похвалился: — «Меня твой уговорил», — мне сразу, поверьте, сразу, как всполох в ночи, все увиделось. И поняла я, кого на кого променяла. И еще поняла, что последняя я тварь. Вижу, знаю, чувствую, какой человек Василий, жизнь за него, не раздумывая, отдала бы, а любить не люблю. Значит, сколько жить буду, столько и мучить его буду. Одним тем, что не люблю, мучить его буду. Его ведь не обманешь. Тошно мне от себя. И все думала: хорошо, порешу с собой, а Олюшку на него взвалю? Мало он намучился? И поняла: один выход — и мне и Олюшке. А Василий... Помучается он — и заживет по-человечьи.

И, если молчала у следователя, то опять же из-за мужа: рассказать обо всем, думалось ей, засмеют Гладышева.

Переубедить ее в этом было не так уж трудно. Но поверят ли ей, если она все в суде откроет? Неизвестно. Во всяком случае, одно ясно: необходимо вызвать свидетелем Ватагина, но сделать это адвокат может только с согласия Василия. И, хотя в его согласии можно было не сомневаться, он даст его, ес-

ли это нужно его жене, адвокат не знал, как начать с ним об этом разговор. Что он знает о подлинных мотивах, толкнувших Анну на покушение на убийство и самоубийство? Вправе ли адвокат сказать ему, что ради него, ради мужа своего она пошла на это?

Сомнения оказались напрасными. Анна, все же не полностью поверив Сергею, спросила у мужа, неужели он ходил к Ватагину, и такое стало лицо у Гладышева, что она, все поняв и не дав ему ответить, закричала: — Молчи! Ничего не говори! Молчи!

И Гладышев, непрестанно думая о том, что же толкнуло жену на преступление, докопался до правды.

Теперь разговор с Гладышевым мог пойти впрямую.

Негодую на Ватагина, адвокат, очевидно, не замечая этого, чем-то дал почувствовать Василию, как поразила сила его чувства.

— Вот вы говорите о моей любви,— сказал Гладышев,— а ведь все несчастье оттого и произошло, что любви-то не было. Такой, какая имеет право называться любовью.

Гладышев говорил безо всякой аффектации, да она ему и не свойственна, говорил он то, что выстрадал. И по мере того, как говорил, убеждал, если не полностью, то в главном. Нет, он, конечно, любил. И любовь его была удивительная. И все же в чем-то он был прав, спрашивая: «Разве так ведут себя, когда любят?».

— Если любишь,— говорил Гладышев,— то за любимую борешься. Видя, что любимой грозит беда, разве можно стоять в стороне и не прийти ей на помощь? Аня не разглядела, что Ватагин — дрянцо, его наперстком можно вычерпнуть, но я-то ведь видел! Видел! И не стал за Аню бороться. А если всю правду говорить, то хотел там или не хотел, но помогал ей глубже завязнуть. Чтобы избавить Аню от боли, которая вскоре бы, вероятнее всего, и забылась, обрек ее на муку, от которой нет спасенья. И ведь не только в этом моя вина. Если любишь, то нельзя, ради чего бы то ни было, нельзя притворяться, нельзя не быть самим собой. А я? Будь я с Аней самим собой, оставь я ее, как только в ее жизнь вошел Ватагин, у нее сразу бы все оборвалось, и она бы не прикипела сердцем к своему Ватагину, и не было бы несчастья. Тяжко было бы Ане, но достойно бы жила. Какое я имел право думать, что ей лучше жить в обмане, в слепоте, в грязи? Если любишь, то разве смеешь так думать о любимой? Семь лет жил рядом, каждый взгляд ее ловил, пылинке не позволял садиться, а главного в ней не разглядел.

И тут Гладышев сказал такое, что сначала не только поразило, но и показалось едва ли не нарочитым, какой-то игрой в самообвинение, и только потом открылась подлинность того, как и что им было выношено в муке.

— А ведь беда пришла с первых месяцев нашей женитьбы, оттого пришла, что не было у меня внимания к Ане.

— Как вы можете так говорить?

— Не было внимания! В том-то все и дело, что не было! — твердо, как нечто окончательно решенное, сказал Гладышев.

Само собой разумеется, что Гладышев в Даля перед разговором с адвокатом не заглядывал. Гладышев сам додумался или, если быть точным, дострадался до того удивительного по тонкости толкования, данного Далем «вниманию» — быть внимательным означает не только «сторожко слушать» (многого стоит это «сторожко!»), но и «устремлять на это мысли и волю свою». В этом и вся суть. Был Василий и ласков, и заботлив, и нежен. Все это так. А слушал ли он сторожко, пытался ли «устремить мысли и волю свою», чтобы понять, отчего тускнеет Анна в семейной жизни, отчего вспыхивает в ней недовольство? Делая так, как ему всего легче по свойствам его характера, задумывался ли над тем, как это воспринимается Анной? Отдаваясь своим чувствам, вглядывался ли он в сущность той, кто был ближе всего ему на свете? Нет, быть ласковым и нежным вовсе не значит быть внимательным. Проглядишь изменения, которые постепенно, почти незаметно происходят в том, кто рядом с тобой, и рушится семья. И приходит несчастье.

Так винил себя Василий Гладышев. Винила себя и только себя и Анна. Оба они были так искренни, что был бы грех хоть на иоту усомниться в их правдивости. То, что они раскрыли, в очень большой мере меняло схему обвинения, предъявленную подсудимой, — и... насколько не облегчало задачи, стоящей перед защитой. Схема обвинения была проста, легко доступна и весьма смахивала на правду. И в этом была трудность борьбы с ней. Ведь спор должен был пойти не о фактах, а о мотивах преступления. Казалось бы, кому лучше и полнее знать о мотивах, чем самой преступнице? А Анна Гладышева сама признала, что хотела избавиться от ребенка, который был в тягость: с мужем разладились отношения, хотела развестись с ним, и тогда вся тяжесть воспитания ребенка падает на нее одну. А что касается того, что, идя на преступление, не испугалась неминуемой ответственности за него, то, в уголовной практике такое пренебрежение к тому, что последует за преступлением, встречается нередко.

Если Гладышева и не давала показания о причинах, по которым пыталась покончить с собой, то следствие довольно легко обошло это препятствие и нашло объяснение, крайне неблагоприятное для подсудимой и все же подкупающее своим правдоподобием: осознав, чем грозит ей убийство ребенка, она приняла яд, чтобы продемонстрировать свое отчаяние и раскаяние, но приняла яд предусмотрительно в таком количестве, которое не могло вызвать смертельного для нее исхода.

И, сколько бы не декларировалось, что признание — отнюдь не лучшее доказательство, его психологическая значимость все же достаточно велика.

Как убедить суд, что не было у Гладышевой тех низменных побуждений, которые она сама себе приписывала на следствии? Ведь вопрос о мотивах преступления в делах об убийстве имеет решающее значение.

Мать, пытавшаяся убить ребенка, чтобы развязать себе руки, — действительно чудовище. Но ведь Гладышева не развязывала себе рук. Как это доказать? Если и Василий и Анна Гладышевы расскажут суду все то, что адвокат узнал от них, поверит ли им суд? Нужно даже так сказать: вправе ли суд им верить? Можно ли решать судьбу людей, доверяясь впечатлению, то есть чему-то зыбкому, шаткому, не подлежащему проверке?

Как найти объективно-значимое подтверждение объяснениям Гладышевых? Казалось бы, это не очень сложно, нужно сделать то, что решено было еще после первого свидания с Гладышевой: вызвать Сергея Ватагина в суд. Но такой, как Ватагин, не станет показывать против себя. И у него хватит сметливости, чтобы коротким «нет» обрубить все ниточки, ведущие к нему. Но иного пути не было. Ватагин был вызван свидетелем.

Пытаясь предугадать поведение Ватагина и ломая голову над тем, как понудить его к правде, адвокат, как это сразу же в суде выяснилось, исходил от представлений весьма далеких от действительности. Ватагин ничего не собирался «обрубить» и не видел никакого смысла для себя в том, чтобы что-либо скрывать. Наоборот, ему не терпелось все рассказать. Он пришел в суд — как это ни звучит дико — премного довольный тем, что его вызвали: глядите на меня, любуйтесь, вот какой я роковой мужчина, из-за меня женщины с собой кончают и на преступление идут. И если он омрачился, то только тогда, когда узнал, что его показания будут заслушаны при закрытых дверях.

Ватагин давал показания, и судьбы, и прокурор, и защитник мучились одним и тем же чувством, горьким и оскорбитель-

ным, чувством собственной беспомощности. Перед судом стоял человек, который никак не понимал, какие могут быть к нему претензии. Полную свою моральную глухоту Ватагин считал нормой и начисто отвергал мысль, что хоть в чем-нибудь да поступил недостойно. Обещал он что-нибудь и не выполнил? Не было этого. Солгал ли в чем-либо? И этого не было. Ватагин был, нельзя найти другого слова, органическим демагогом, демагогом тем более неуязвимым, что он верил в свою демагогию, в те слова о правде и честности, которыми он прикрывал свою подлинную низость.

В своих показаниях, повторяя, что он ничего не прибавит, но и скрывать ничего не станет, он не щадил ни подсудимой, ни ее мужа. С издевкой он смаковал свой рассказ о том, как к нему явился Гладышев ходатаем за жену.

И какое бы возмущение ни вызывал Ватагин, суд был бессилен: закона Ватагин не нарушил, а от упреков он был хорошо защищен непробиваемым сознанием, что он «в своем праве». И верный обычно рецепт — помощь общезначимости в случае с Ватагиным может и не подействовать. С безнаказанностью таких, как Ватагин, — с ней не просто бороться. Очень хотелось рассказать о том, как допрос суда и речи сторон исхлестали Ватагина, как он бледнел, как исчезла его самоуверенность, как побитым он ушел из суда, но все это неправда. На него ничего не подействовало.

Тяжело было от сознания, что цинизм и хамство остаются безнаказанными. Безнаказанными. Да, в то время. Но думаю, что всем тем, кто по роду своей работы сталкивается со сложными человеческими судьбами, не раз доводилось убеждаться, что человек эгоистичный, жестокий, злой все равно будет наказан. Одиночеством, которое ждет всех эгоистов, ненавистью окружающих, уготованной жестоким людям, презрением, что подстерегает злых, лишенных сердца людей. И когда мы говорим, что «жизнь все равно накажет» — это не пустые слова.

Слушая показания Ватагина, адвокат боялся за подсудимую. Каково было ей слышать, что он сошелся с ней только потому, что ему было некогда! Так он и сказал: некогда. Занятый учебой и работой, он не имел времени выбирать «подружку» себе по вкусу.

Заставив себя посмотреть на подсудимую, адвокат понял, что Ватагин невольно сделал доброе дело: Анна слушала Ватагина без гнева, слушала без боли, слушала, навсегда исцеленная от него, исцеленная презрением, которое он вызвал в ней.

Объяснениям, которые дала Гладышева в суде, поверили.

Прокурор просил приговорить подсудимую к лишению свободы на небольшой срок. Это требование не было суровым.

После прений прокурор спросил адвоката:

— Не думаете ли вы, что сейчас, пока все еще так свежо, самое страшное для Гладышевой очутиться на свободе?

Когда суд удалился на совещание, Василий Гладышев подошел к адвокату:

— Узнайте у Ани, можно ли мне прийти к ней на свидание?

Гладышевой нелегко было сказать то, что она сказала, но иначе она, очевидно, не могла:

— Не нужно! Сейчас не нужно.

## ПРОСТОЕ ДЕЛО

Дело Володи Гулибина. Оно не из тех, на которые толпой стекаются любопытные. В нем казалось все ясным. На вопрос, признает ли он себя виновным, Гулибин ответил:

— Полностью!

Шестнадцатилетний паренек, ученик 9-го класса, Володя Гулибин дружил с Надей Пискаревой. Они учились в одном классе. Володя часто бывал у нее дома, случалось, вместе готовили уроки, на каток бегали. Был Володя своим человеком в Надиной семье. И когда Пискаревы переезжали на новую квартиру, то Володя пришел помогать. Помогать-то помогал, а заприметил, в какой чемодан укладывались самые ценные вещи. Вот этот чемодан Володя и украл. И отпирался до тех пор, пока чемодан не был обнаружен. Отрицать свою вину было бессмысленно, и Гулибин сознался. Угрюмо, зло, без тени раскаяния.

И в суд пришел, ни в чем не раскаиваясь.

А на вопрос, как он сам расценивает то, что совершил, вот что Володя Гулибин ответил:

— Жалею, что попался.

Итак, основное как будто уже выяснено. И суть подсудимого, пожалуй, видна. Судьям, людям житейски опытным, нетрудно сообразить, что бравада Гулибина вовсе не свидетельствует о его цинизме и испорченности. Паренек впервые перед судом, стыдно ему, конечно, стыдно, да и страх его допекает; из последних силенок он держится, чтобы не открылось все, что он чувствует, вот со стыда и страха куражится. Нельзя на подростке ставить крест. Но и другое нужно взять во внимание: с расчетом действовал подсудимый, выбирал ведь, что стащить. И самое худое: не остановился он перед тем, чтобы обокрасть друга.

И нравственная задача судебного разбирательства, казалось бы, четко обозначилась: добиться нужно, обязательно добиться, чтобы Володя осудил сам себя беспощаднее и суровее, чем это делает суд.

Простое дело, проще простого!

Но судьи знают, обязаны знать, что нет простых дел. И если судье дело кажется простым, то это свидетельствует не о простоте дела, а об упрощенности судейского восприятия.

Судьи, перед которыми держал ответ Володя Гулибин, не поверили в столь явно бросающуюся в глаза простоту дела. Не поверили и избегли судебной ошибки, которая так легко могла возникнуть. Ошибки тем более тяжкой, что, допусти ее суд, было бы, пожалуй, невозможно не только исправить, но даже обнаружить ее.

Суд не знал никакого другого объяснения событиям, кроме того, которое дал Гулибин, суд помнил все доказательства вины, собранные на предварительном следствии, но суд помнил и о своей правовой и моральной обязанности ничего наперед не считать доказанным. Суд вел разбирательство медленно, вдумчиво, осторожно, сдерживая естественное желание поскорее добраться до правды; судебное разбирательство задерживалось на едва приметных обстоятельствах и постепенно обнаруживалось: они-то и имеют первостепенное значение.

В судебное разбирательство внесли свои усилия и судьи, и прокурор, и адвокат. И столько неожиданного открылось в деле Володи Гулибина, и при этом никакой сенсации, ничего такого, что изменило бы факты, но до чего же изменилось все дело!

Теперь, когда разбирательство дела уже позади, можно начать с конца, с того, к чему оно пришло. Так яснее будет путь, которым шел суд.

Володя Гулибин — это установлено бесспорно — тайком утащил чемодан. Утащил и считал себя правым.

Николай Сергеевич, отчим Нади Пискаревой, много внес злого и тяжкого в ее жизнь. Влюбленный в свою жену, он ревновал ее к Наде. В столь понятной любви матери к своей единственной дочери Николай Сергеевич видел проявление неизжитого чувства к отцу Нади, трагически и внезапно погибшему. Николай Сергеевич — человек властный, даже грубый, он не умел и не пытался себя сдерживать. Надя понимала то, чего не сумел понять Николай Сергеевич: вражда между падчерицей и отчимом больше всего причиняла страдания матери, мучившейся между дочерью и мужем. И Надя щадила мать, поэтому и сносила попреки и оскорбления, на которые был так гароват тот, кто занял место ее отца. Но оттого, что Надя молча все сно-



сила, она мучилась еще острее. И до того измучилась, что готова была уйти из дома. Но куда? И как? Помимо всего, нужны ведь и деньги, чтобы жить одной. Вот Володя и решил: дружба обязывает, он поможет Наде. Поможет любой ценой. Наде, рассуждал Володя, принадлежит какая-то доля того, что осталось после смерти ее отца. И тут пришло решение: «Заберу, Надя об этом и знать не будет, часть вещей, ей принадлежащих, продам, вот у Нади и будут деньги, сможет она уйти из дому, избавиться от мучений».

Володя понимал, что идет на преступление, но в его глазах оно было только способом восстановить справедливость. Когда чемодан был обнаружен и Володе предъявили обвинение в краже, он решил, что не имеет права отвергать обвинение, не имеет права защищаться. Рассказать всю правду — значит предать Надю. Затравленная отчимом, Надя не выдержала, открылась перед Володей. Это было проявлением истинной дружбы, самого глубокого доверия. А он потащит ее исповедь на всеобщий огляд. И сделает жизнь Нади — ей ведь придется остаться с отчимом — вконец невыносимой. Володя считал, что не имеет права на правду. Он предпочел, чтобы его осудили как воришку, соблазнившегося шерстяными отрезами, только бы не обмануть доверия Нади и не причинить ей зла.

Предпочел.

Но если бы его так и осудили и он бы остался навсегда с клеймом «домушника», то ощущение несправедливости, хотя она и вызвана в первую очередь им самим, жило бы в нем и точило бы его душу.

Трудно было суду добраться до правды. Если Володя скрывал ее от следователя, с которым был с глазу на глаз, то для него полностью исключалась возможность, так сказать, обнародовать правду при гласном и публичном разбирательстве дела в суде.

Но суд искал ее, эту потаенную суть дела. Вслед за Володей допрашивался Николай Сергеевич. Это он первый заподозрил Гулибина в краже. Давая показания, Николай Сергеевич старательно являл собой натуру добрую, мягкую, но справедливую. «Вечный данник правды», он рад бы, движимый добротой, поступиться истиной, но не может. Николай Сергеевич просил суд поверить, что он не жаждет крови, ему, так много трудного перенесшего в жизни, душевно жаль юношу, никаких мстительных чувств к нему он не питает, но, по правде говоря, этот юноша никогда ему не нравился.

— Чем?

— Многим.

— Конкретнее, пожалуйста!

— Прежде всего грубостью.

Оказывается, бывало, встречались Николай Сергеевич с Володей на улице, так тот не только не здоровался, но волком смотрел.

— Не было ли к тому каких-либо причин?

— Никаких! Просто на глазах Гулибин становился все хуже и хуже, еще в прошлом году он был куда вежливее.

Николай Сергеевич счел своим долгом довести до сведения суда, что он был против дружбы своей — он на минутку приостановился, выбирая слово, и выбрал... — Нади с Гулибиным.

— Помешало это их дружбе?

— Я, к сожалению, не имею на Надю никакого влияния.

Допрос Николая Сергеевича ничего конкретного не дал. Но он заставил задуматься. Подросток ходит к Наде домой, дорожит этой возможностью и, несмотря на это... рискует потерять ее, грубя Николаю Сергеевичу, как это возможно? Но ведь раньше не грубил. Что заставило Володю изменить отношение к Николаю Сергеевичу? В ясном деле появились первые неясности. Может быть, допрос Нади Пискаревой устранит недоумения. Нет, Надя ничего объяснить не может, она не верит и ни за что не поверит, что Володя способен украсть. Да, ей и следователь говорил, что Володя сознался, но все равно она знает, что Володя не мог украсть. Не может, не может она объяснить, зачем Володя возводит на себя вину.

— Верно ли, что семья была против вашей дружбы с Володей?

— Неправда! Мама очень хорошо относилась и относится к Володе.

— А Николай Сергеевич?

Надя только передернула плечами. Передернула так, что стало очевидно: прав Николай Сергеевич, не имеет он влияния. Так передернула плечами, что сам собой возник вопрос:

— Какие у вас отношения с отчимом?

— Отношения? — переспросила Надя. — Отношения? Нормальные.

Допрос Нади Пискаревой ничего не прояснил. Но судьи отметили, что Надя считает: ее семья состоит только из матери и ее самой, отметили и то, что Надя сочла необходимым ответить, что ее отношения с отчимом «нормальные».

Надя теперь может оставаться в зале и слушать все, что будут показывать остальные свидетели. А это немало и может привести к неожиданным результатам.

Показания давали классный воспитатель и соученики Володи Гулибина. И все в зале обратили внимание: суд допрашивал свидетелей не то что недоверчиво, этого не было, но суд явно

не довольствовался их оценкам! Скажет свидетель про Володю «честный, отзывчивый, прямой», а суд от свидетелей требует: «Приведите факты, которые убеждали бы в прямоте или отзывчивости». Свидетели приводили их, и тогда отзывы вместо невосомых, расплывчатых впечатлений превращались в точные и убедительные доказательства.

Но не все свидетели показывали только хорошее.

Суд вел допрос пожилой, почтенной женщины, которую Гулибин упросил принять на время чемодан. У нее на квартире и был обнаружен. Свидетельница знала Володю чуть ли не со дня его рождения. Она жила в одной квартире с Володиной семьей до прошлого года. И никак не могла подумать, что Володя ее так подведет, притащит к ней украденный чемодан. Свидетельница так была напугана мыслью, что ее могли счесть укрывательницей похищенного, что все время сворачивала на то, что она невиновна. И ее испуг и ее волнение были понятны и вызывали только сочувствие.

— Как же вы не побоялись подвести человека, который вам так доверял? — спросил прокурор Гулибина.

— Если бы я думал, что подведу... — И, не кончив фразу, безнадежно махнул рукой Гулибин.

Его ответ почему-то особенно рассердил свидетельницу.

— Ах, не думал, — сказала она, — а когда приходил просить за девушку, тоже не думал?

И свидетельница рассказала, что за несколько дней до того, как Володя принес чемодан, он пришел к ней и стал упрашивать, чтобы она сдала угол девушке, очень уж он расписывал эту девушку: и тихоня, и скромница, и пятнышка на ней не сыщешь. А когда свидетельница спросила, отчего же скромница из родительского дома уходит. Володя стал нести полную чепуху. Но все же уговорил он, пообещала она на время поселить у себя девушку. Как зовут девушку, Володя не говорил, а она не спрашивала.

— О ком вы хлопотали? — спросили Гулибина.

— Ни о ком!

— Вы вправе не отвечать, но подумайте, правильно ли вы поступаете. О ком же вы хлопотали?

Володя так ничего и не ответил.

Надя же слышала, слышала показания свидетельницы, слышала и ответ Володи.

Один из соучеников Володи, Сергей Чуйков, пришел в суд с опозданием и поэтому был допрошен позже других. Чуйков был юношей удручающе «правильным». В свои 16 лет он был тягуче рассудительный, застрахованный от ошибок, точно знающий, что к чему, и ни на что неосмотрительное его не подо-

бьешь. А тут он едва не допустил оплошность. Чтобы исправить ее, он и начал свои показания с того, что считал своим долгом принести суду извинения: дело в том, что он ранее дал недостаточно продуманную характеристику подсудимому. Теперь же, когда ему известно все «содеянное подсудимым Гулибиным» — так Чуйков и сказал, — он меняет свою точку зрения и не может не выразить своего возмущения.

Судья, подчиняясь, очевидно, тем же чувствам, которые испытывала и аудитория, слушая Чуйкова, торопящегося отречься от товарища, спросил:

— А что вам известно о «содеянном»?

— Как что? Совершено преступление: хищение личной собственности!

— Виновен или невинен подсудимый — это решает только суд, не торопитесь с выводами, свидетель Чуйков. Суд ждет от вас фактов, а не оценок.

И тогда задетый замечанием, чувствуя явное неодобрение аудитории, Чуйков сказал:

— Только о фактах я и буду говорить. Мне стали известны некоторые события, весьма отрицательно рисующие облик подсудимого. Но эти события не имеют связи с его обвинением. Могу я о них говорить?

— Говорите!

— Гулибин незадолго до хищения, простите, до истории с чемоданом, предложил совершить спекулятивную сделку с марками...

— Кому предложил?

— Моему двоюродному брату, Сапрунову Федору.

Суд по ходатайству защиты вызвал Сапрунова свидетелем. Его показаний ждали с тем большим интересом, что против его вызова возражал подсудимый.

Сапрунов — студент второго курса, страстный филателист. Увлечение марками и сблизило его с Гулибиным. О Гулибине он самого лучшего мнения. Нет, ни о какой спекулятивной сделке никогда не было речи. Но был странный случай, он удивил свидетеля, поэтому о нем он и рассказал Чуйкову. За несколько дней до кражи чемодана — а он услышал о краже от того же Чуйкова — к свидетелю пришел Володя Гулибин со странным предложением: Володя приведет к свидетелю девушку, она принесет свой альбом с марками. Марки там чепуховые, но Володя просит свидетеля сделать вид, что девушке ненароком удалось собрать очень ценную коллекцию, и предложить ей за альбом большие деньги.

— С какой радости? — удивился Сапрунов.

— Пусть тебя это не беспокоит,— сказал Володя,— я дам тебе денег, а ты ей отдашь их. Но девушка ничего не должна знать о нашем сговоре.

И тут суд обратился к подсудимому.

— Кто была та девушка, чью коллекцию вы предложили купить свидетелю?

Володя встал, но ничего не отвечал.

— Подсудимый, вы не ответили на вопрос суда.

Володя продолжал молчать. Молчание затягивалось. А ответа ждал суд, ждала аудитория. Володя не отвечал. И тут поднялась Надя и вскрикнула:

— Из-за меня, из-за меня он все это сделал.

— Неправда! — это крикнул Володя.

— Нет, правда! Это я, я во всем виновата.

И Надя рассказала все то, что, щадя ее, Володя хотел скрыть. Рассказала, отбросив всякую мысль о том, как сложится ее жизнь, рассказала, понимая, как больно будет матери. Но не рассказать она не могла, она знала, что правда, только правда может помочь Володе. А в зале слушали ее и понимали, что правда поможет и ей.

А кое-кто в судебном зале думал и о том, что правда поможет и матери Нади. Долго, чересчур долго она не решалась сделать выбор, которого она страшилась, но теперь, возможно, она поймет, что отказ от выбора—худший выбор. Поймет, что во все не между мужем и дочерью нужно выбирать, выбирать нужно было между готовностью бороться за чистоту и ясность отношений в семье и трусливым увиливанием от борьбы, обманывая себя надеждой: авось, и так утрясется.

Так всплыла правда по делу Гулибина.

И те, кто был в зале, снова и снова думая о том, как шло разбирательство дела, поняли, что судебное разбирательство и направлено на то, чтобы разобраться в человеке. Разобраться в человеке — проделать ту самую работу, которую мы совершаем каждый день и всю жизнь. Но мы проделываем ее со множеством ошибок. А от суда ждем и требуем, вправе ждать и требовать, чтобы суд не допускал ошибок. Следя за ходом судебного разбирательства, мы, может быть, не всегда до конца осознанно, но неизменно ждем и требуем от суда: покажи, как нужно разбираться в человеке, покажи и научи!

Нужно ли говорить, какую ответственность на судей возлагает это молчаливое, но постоянное требование судебной аудитории!

И как велико нравственное воздействие суда на аудиторию, когда он и сознает и выполняет это требование!

## НА ДВУХ ПЛОТАХ

Помните, в «Воскресении» в комнату присяжных заседателей входит Нехлюдов и слышит, как «бритый, высокий представительный господин» рассказывает, преисполненный восхищения: он только что был в соседнем зале, где слушалось гражданское дело и адвокат сумел «дать делу удивительный оборот». «Удивительный оборот» привел к тому, что у ответчицы-старушки, «несмотря на то, что она была совершенно права», было отобрано все ее имущество в пользу дельца, который не имел на него никакого права. «Гениальный адвокат!» — восклицал бритый господин. А когда адвокат вышел из зала, на него «обратились все глаза и он чувствовал это и всей наружностью своей как бы говорил: «Не нужно никаких выражений преданности».

Прошел век... и вот что неоспоримо, просто неоспоримо: попробуй адвокат «дать делу удивительный оборот», чтобы отобрать у старой женщины все ее имущество и отдать тому, кто на него не имеет никакого права, судебная аудитория была бы единодушна в своем возмущении, и если бы на адвоката, да и на судей и были «обращены все глаза», то отнюдь не для выражения преданности.

Если прислушаться не только к тому, как непримиримо реагирует судебная аудитория на неправду, на уловку, но и к тому, какой отклик в ней вызывают те, требующие особой душевной тонкости сложные нравственные вопросы, которые приходится решать по ходу судебного разбирательства, то станет очевидным: высоко, вправду высоко поднялась точка отсчета этического, судебная аудитория вершит свой нравственный суд по большому, строгому, без скидок, счету.

Дело Надежды Щербаковой, которое разбиралось в Ленинградском городском суде, — убедительное тому подтверждение.

Надежда встретила с Владимиром Щербаковым в тяжелую пору своей жизни. Сурово обошлась с ней жизнь. Детство было у нее нелегким. В семье — шестеро детей, мал мала меньше, и один только работник — отец, железнодорожный мастер. И отец и мать — люди неплохие, но неотвязные заботы сделали их вечно хмурыми и раздраженными.

Детство было нелегким, а юность принесла злое горе. Надежда исполнилось восемнадцать лет, когда она встретила Василия Гулько. Она верила, что теперь-то жизнь пойдет по-иному, станет легче и радостнее. Так верила, что ее не остановил отказ Гулько зарегистрировать брак в первые месяцы теперь уже общей их жизни. Да и чего было настраиваться,

он ведь все так хорошо объяснил: хочет свадьбу сыграть в том городе на Волынщине, где живет его мать, туда и они переедут, там и зарегистрируются. А пока нужно поднакопить денег. И действительно, когда Надя была уже на седьмом месяце беременности, Василий Гулько поехал к себе, в свой городок: нужно, мол, все подготовить к приезду Нади, квартиру отремонтировать, кое-что из мебели прикупить, пусть Надя забот не знает, беречь ее нужно.

Уехал Василий Гулько. Прошла неделя, другая, а от него ни слова. В ответ на Надины письма, полные тревоги — за него, не за себя, — пришла телеграмма: «Здоров». И даже подписи не было.

Отец Нади, видя, как она мучается, втайне от нее поехал к Гулько. Приехал и услышал:

— Передумал. Разобрался: не подходит мне Надя в жены.

Старый человек об одном только просил Гулько:

— Через два месяца ей рожать. Не вынесет она, если узнает, что ты задумал. Будь человеком, успокой ты ее хоть на эти два месяца. А родится ребенок, окрепнет Надя, тогда и рви.

— Хорошо, — согласился Гулько и в тот же день написал Наде, что между ними все кончено и пусть она на него больше не рассчитывает.

Родился сын, но это не утешило Надю. Жизнь для нее в родном Казатине стала мукой. Ей казалось, что все, с кем ни встречается, смотрят на нее, одни с обидной жалостью, другие — даже не стараясь скрыть усмешку, и все они видят в ней отвергнутую.

Конечно, можно говорить о гордости, о самоуважении, о том, что достоинство требует пренебречь пересудами, подняться над обывательскими представлениями. Все это, конечно, верно, но Надя была такой, какой она была. И отец и мать видели, как мука точит и гложет Надю. У нее пропало молоко. И Надя решила: теперь она и ребенку не нужна. Удрученные, напуганные родители догадывались, что она все упорнее возвращается к мысли: жизнь не удалась, зачем длить мучения? И они не видели другого выхода: Надя должна уехать из Казатина. Пусть едет учиться, поступит в техникум. Новые люди, новая обстановка — это не может не помочь. И Надя уехала в Ленинград.

И случилось так, что сразу же встретила с Владимиром Щербаковым, он года два назад был ее случайным попутчиком в поездке. Щербаков — ленинградец. Уже одно это приподнимало его в глазах Нади. Но сколько у него оказалось других, и самых замечательных, достоинств! Владимиру было всего

двадцать четыре года, но сразу чувствовалось: вот человек, который нашел свой путь. Такой с намеченной дороги не сойдет. Были в Щербакове спокойная уверенность, нерушимая убежденность в том, что жизнь пойдет у него так, как им намечено. Эта уверенность в прочности своей жизни, которая так явно чувствовалась в Щербакове, больше всего поражала и покоряла неудачливую Надю. Все в Щербакове привлекало ее: ясные, спокойные глаза, приятные черты лица, русые, такие мягкие волосы, что их так и тянуло погладить, предупредительная, но вполне достойная, самоуважительная манера держать себя. А когда Надя присмотрелась к Владимиру, то пришла в полное умиление: и ласков, и мягок, и умен. А говорил Владимир по-особому, так еще никогда никто с Надей не говорил. Она даже не всегда его понимала, но все равно это ее волновало: нарядные были у Щербакова слова и праздничные. И дивилась Надя, и не могла поверить, и не в силах была не верить: Владимир полюбил ее. Так полюбил, что убеждал, настаивал, молил стать его женой. Но нельзя ему не рассказать не только о Гулько, но и о сыне. Как он это примет? Что же ей делать? А от матери письмо за письмом — и в них строгий наказ: «Не губи ты своего счастья, не смей ничего говорить о сыне, скажешь — отпугнешь Владимира. Пеняй тогда на себя». И Надя скрывает, что у нее есть сын: знала — не вынесет, если потеряет Владимира.

Надя стала женой Владимира. На первых порах счастье было таким всезаполняющим, что она не чувствовала особой тоски по сыну и почти не мучилась тем, что скрывает правду от любимого.

Летом, через несколько месяцев после женитьбы, Владимир предложил поехать в отпуск к родителям Нади: не порядок — тесть и теща зятя в глаза не видели. Да и хорошо летом на Волынщине. Надя не смогла отказаться от поездки. Мать и отец Нади, предупрежденные о приезде, сделали все, что могли, для того, чтобы Владимир не узнал о ребенке. Малыш был отвезен к родичам. Тайну сохранили, а Надя втихомолку бежала поглядеть на сына.

Четыре года Надя скрывала правду от Владимира. Четыре года! А за это время еще дважды приезжал Владимир в Казатин, и каждый раз ребенок прятался.

С каждым годом все труднее переносила Надежда свою вину перед мужем и все невыносимее тосковала по сыну. Она не выдержала:

— Сделай со мной, что хочешь, но больше не могу! — и все открыла Владимиру.



Едва начав говорить, Надежда поняла, что Владимир не простит, прямой, правдолюбивый, он не поймет, как она смогла так долго лгать ему. Но теперь уже не сказать всего она была не в силах. Надя рассказывала, рассказывала, чтобы уже ничего не было скрыто, и не смела поднять на мужа глаза. Во всем покаявшись, Надежда горько разрыдалась. Владимир ласково взял ее голову в руки и сказал:

— Не у тебя, у нас есть сын. Наш сын должен жить с нами.

Он настоял, чтобы Надя написала немедля родителям: пусть они подготовят Леню, за ним приедут его мама и его папа, да, да, именно так, и возьмут его с собой в Ленинград. Так они и сделали. Леня, когда ему пошел пятый год, стал жить с матерью и тем, кто так охотно стал ему отцом.

Владимир не попусту сказал, что у Лени теперь есть отец: в детский садик отводил Леню он, он приносил Лене игрушки, он читал Лене по вечерам сказки. И Владимир словно не замечал, с каким восторгом, с какой неизъяснимой благодарностью смотрит на него Надежда, как восхищаются им ее подруги по техникуму.

В августе, радостная, свободная от горестной необходимости что-то скрывать от мужа, Надежда уехала с Ленией в отпуск в Казатин. Владимира на работе не пустили, и он остался в Ленинграде. В конце сентября Надежда с сыном вернулись домой. А ранним утром 10 ноября она совершила преступление. Она обвиняется в том, что покушалась на жизнь своего мужа Владимира Щербакова.

Как же случилось, что Надежда Щербакова подняла топор на того, кого она в течение почти шести лет считала лучшим из людей?

Владимир Щербаков дал этому объяснение в показаниях. В первые же дни после того, как Надежда уехала в отпуск, он познакомился с Ольгой Артемьевой, она вызывается свидетельницей, поэтому он считает себя вправе назвать ее. И он полюбил Артемьеву. Полюбил так, как никогда раньше никого не любил. Он боролся с собой, но новое чувство было сильнее его. Он бы не простил себе, если бы что-нибудь скрыл от Артемьевой. Он рассказал ей, что женат, что жены есть ребенок и что Надежда четыре года обманывала его.

Ничего не скрыл он и от жены. Как только она вернулась из отпуска, он все полностью и правдиво рассказал. Надя поведала себя как-то странно: она отказывалась верить, что чувство, которое было таким глубоким на протяжении стольких лет, может исчезнуть сразу и бесследно. Но он дал ей ясно понять, пусть не заблуждается, от этого ей будет только тяжелее, он

уходит к Артемьевой. Он должен отдать Наде справедливость: не было ни сцен, ни попреков. Она тяжело захворала, была отвезена в больницу, упрекнуть ее в этом он не вправе. Одно только он может поставить ей в вину: уже зная, что он любит другую, Надя отказывалась сделать аборт, рассчитывая, очевидно, что это помешает Щербакову покинуть ее.

6 ноября вечером Щербаков ушел на праздник к Артемьевой. Предупредил Надю, что будет у Ольги до 10 ноября. Он считал и считает, что это его долг, долг перед Ольгой, перед собой, перед новым своим чувством, и поэтому наотрез отказался исполнить Надину просьбу: провести хотя бы один праздничный вечер с ней. Правда, Надежда говорила, что в праздники соседи уезжают за город, она остается только с Леней и ей страшно, пустая квартира ей кажется склепом. Но он, Щербаков, прекрасно понимал, что это нервы, он не хотел и не мог огорчать Ольгу (а она бы, естественно, огорчилась, уйди он от нее в праздники, да еще к другой женщине). 10 ноября ранним утром Щербаков вернулся домой. В показаниях он так описывает дальнейшие события:

— Подойдя к двери квартиры, я увидел, что она полуоткрыта: я потянул ее к себе, дверь не открывается, но чувствую, что ее кто-то держит. Я потянул сильнее и увидел, что ее держит рука. Я уперся ногой и дернул. Дверь сразу же распахнулась, и я с дверью отскочил, а в это время из коридора с топором, поднятым над головой, вышла, точнее шагнула, Надя. Я успел заметить лицо Нади: оно было такое, как в диком порыве. Топор она держала лезвием вниз. Она опустила топор на меня, но я отпрянул назад и заслонился рукой. Лезвием топора она поцарапала мне руку. Я сразу вырвал топор из рук Нади.

Щербаков говорил на суде спокойно, он не пылал гневом, не старался выставить Надю в дурном свете, он только удивлялся, как могла Надя топором разрубать сложные отношения, но тем отчетливее было видно, как отвратительно содеянное Надеждой Щербаковой: Владимир честно и прямо открыл ей свою душу, ведь с ним произошло то, над чем он не волен, он полюбил другую, а жена схватилась за топор: «Любишь — не любишь, это твое дело, а жить ты обязан со мной, а уйдешь — топор в ход пойдет».

Слушали Щербакова сочувственно. Правда, был какой-то настораживающий оттенок во всем рассказе Щербакова: о Наде, о своей жене, он говорил как о совершенно постороннем, полностью чужом, не занимающем никакого места в его жизни человеке. Но она ведь покушалась на его жизнь, и если после

этого он стал к ней безучастным и равнодушным, то это еще не самое худое из того, что он мог испытывать к преступнице.

Держал себя Щербаков скромно, с достоинством, не смущался и не пытался выгладеть героем. И вызывал, возможно, даже не стремясь к этому, горячее возмущение присутствующих подсудимой. Так бы все и осталось, если бы не дневник Владимира Щербакова.

Дневник. Прежде необходимо упомянуть, при каких условиях была оглашена первая цитата из него.

Когда Щербаков закончил свой рассказ, председательствующий спросил его:

— Вы сказали, что боролись со своим чувством к Артемьевой и, только убедившись, что оно сильнее вас, решили оставить семью. Как долго длилась эта ваша борьба с самим собой?

Щербаков пожал недоуменно плечами — разве можно точно установить дату?

— Постараемся вам помочь, — сказал председательствующий, и тут впервые в суде прозвучала цитата из дневника, — в вашем дневнике есть такая запись от 24 августа: «Горят мосты. Швартовы отданы». Что это значит?

— Я принял решение уйти к Артемьевой, об этом и написал, — ответил Щербаков.

— А познакомились вы с Артемьевой, как видно из дневника, 22 августа вечером. Следовательно, ваша борьба с самим собой длилась один день, 23 августа. Так ли это?

— Я за пять лет сделал столько добра Наде, что имею право в конце концов думать и о себе, — спокойно, без раздражения ответил Щербаков.

— И ребенку сделали столько добра, что вправе были больше о нем и не думать?

Щербаков ничего не ответил.

И ничего как будто не произошло. Вина подсудимой не стала ни меньше, ни легче. Допрос Щербакова едва начался, и фактические обстоятельства дела не претерпели никаких изменений. И все же нечто важное, очень важное случилось. Особенно это стало ясно, когда был объявлен перерыв и те, кто был в зале, могли обменяться мыслями. Перед теми, кто слушал дело, думаю, возник вопрос, еще не вполне осознанный, но уже берящий душу, беспокоящий совесть. Обязывает ли и к чему человека им же сотворенное добро? Вправе ли был Щербаков, после того как пробудил в Наде веру в себя, в людей, стал ее светом и теплом, стойти в сторону, сказав: «Я достаточно помогал ей, с меня хватит»?

И в самом вопросе был уже заключен ответ. И не только мысль о том, что человек в ответе и за доброе дело, но и мно-

гое другое тревожило совесть и заставляло задумываться по мере того, как по ходу допроса оглашались записи из дневника Щербакова.

Но как оказался дневник Щербакова в деле его жены? Станным, крайне странным было время, которое избрал Щербаков для передачи дневника следователю.

Утром 10 ноября, примерно через час после совершения преступления, Надежда Щербакова, двадцатичетырехлетняя студентка техникума, была доставлена в психиатрическую больницу в остром реактивном состоянии после того, как она пыталась покончить с собой. В больнице Щербакова пробыла свыше двух месяцев. Но уже 11 ноября, когда еще не было известно, выйдет ли Щербакова из реактивного состояния, не было даже известно, выживет ли она, Владимир Щербаков поспешил к следователю и передал ему дневник, не преминув попросить, чтобы было отмечено: «Дневник выдан добровольно».

В пухлой большого формата записной книжке в глянцевиной красной обложке были сделаны «пометы для души» за все годы совместной жизни Владимира с Надеждой. Все записи сделаны одними и теми же чернилами, без единой поправки или помарки, на каждом листочке ровненько отделены поля, все буквы тщательно выписаны: на суде выяснилось, что Щербаков передал переписанную им самим копию дневника. Значит, весь день 10 ноября он аккуратно, каллиграфически (очевидно, для того, чтобы облегчить чтение) переписывал дневник. Не очень, зная, потрясло его покушение, как не потрясло и то неизъяснимо страшное, что совершила Надежда и что совершилось в ней и с ней.

На первой странице, открывающей дневник, было выведено: «Летопись моей любви». Но Щербаков счел, что «летопись» звучит сухо, «летопись» ни в малой степени не передает всей силы и накала его чувств, и поэтому под «Летописью моей любви» появилась вторая надпись, столь же скромная, но более полно и точно отражающая мощь и неповторимость его чувств: «Поэма моей любви». Выспренность этих надписей может вызвать легкую усмешку, но, по правде говоря, ни о чем худом они еще не свидетельствуют.

Но вот оглашается отрывок из первой записи в дневнике. Щербаков ждет прихода к нему Нади. Это первый ее приход. И он записывает в дневнике: «Антей волнуется. Сама Афродита (богиня любви и красоты) идет сюда». На вопрос, кого Щербаков называет Антеем, он, явно удивленный непонятливостью спрашивающего, ответил:

— Это я Антей.

Это было бы только курьезно, если бы Щербаков не внес в скобки пояснения, кто такая Афродита. Кому это объясняет Щербаков в первой же дневниковой записи? Зачем ведет в дневнике «просветительскую» работу Антей-Щербаков?

Конечно, трудно быть в дневнике до конца правдивым и искренним: едва только начинаешь заносить на бумагу результаты самонаблюдения, как незаметно для тебя вмешивается некий внутренний цензор, и дневниковые записи как-то контролируются, в чем-то меняются, кое-что теряют, а кое-что благоприобретают. Все это верно. Но объяснить, что Афродита — богиня любви и красоты, себе самому Щербакову незачем, значит... значит, объяснял он потому, что, едва приступив к ведению дневника, он уже знал и рассчитывал на то, что будет не единственным его читателем, что по мере надобности дневник будет демонстрироваться. Демонстрироваться в доказательство душевной прелести и роскоши чувств его автора. Спустя несколько дней после того, когда Надя рассказала Владимиру, что была замужем за Гулькой, в дневнике появляется запись: «Антей хочет на свободу. Геркулес, отпусти свои объятия».

Все, кто был в зале, знали уже, кто это Антей. Но кто же Геркулес? Оказывается, как разъяснил суду Щербаков, Геркулес — это тоже он.

Щербакова попросили объяснить, почему Геркулес-Щербаков так сурово обходится с Антеем-Щербаковым? И Владимир объяснил:

— Антей — мое сердце, Геркулес — мой разум.

Сложно, должно быть, живется человеку, вмещающему в себя и Антея и Геркулеса. Перед ним встают подчас неразрешимые задачи. Так оно и случилось. Об одной из них Щербаков рассказывает в дневнике на следующее утро после знакомства с Артемьевой: «Что-то неясное, неосознанное зародилось в тайниках сердца. Голова гудит от нагромождения событий и эмоций, а может быть, от водки».

И в таком бедственном положении, когда никак не разобраться, от чего гудит голова, Щербакову приходится решать еще более сложную задачу. О ней так записано в дневнике — и это через десяток часов после знакомства с Ольгой Артемьевой: «Стою на двух плотках. Куда, куда шагнуть?»

Мы уже знаем, что на завтра «горели мосты» и были «отданы швартовы». Как же случилось, что Щербакову понадобился один только день, чтобы решить, «куда шагнуть» и какой «плот оставить?»

Дневник, возможно, против воли Щербакова, помог найти ответ. Судом были оглашены еще две записи из дневника. Они

относятся к тому времени, когда Надежда рассказала Владимиру о сыне.

Первая запись: «Антей в гневе, как орел, посаженный в клетку». И вторая запись, сделанная через несколько дней: «Антей, ты не ждал этого,— обращается к самому себе Щербаков,— ты привык к борьбе с открытым забралом».

Нет, было бы неверно считать Щербакова телеграфистом Ятем, забредшим в наши дни. Щербаков, само собой разумеется, не прочь «свою образованность показать», но он куда более опасен и вреден. В дневнике, хотя он предназначен и для посторонних глаз, а может быть, главным образом для них, Щербаков все же, пусть невольно, но обнажает свою суть. И если протиснуться меж разных там антеев с геркулесами и не задерживаться на двух плотях, то проглянет во всей своей красе матерый мещанин. А мещанин не только безвкусен, он по своей природе себялюбив, зол и поэтому аморален.

Читаешь дневник и вспоминаешь показания одного из свидетелей:

— Щербаков — замкнуто-вредный, то есть насолит и хочет взглянуть честным.

Читаешь дневник, который «добровольно выдан», он должен был бы служить таким свидетельством добропорядочности, и постепенно все отчетливее понимаешь: никакой душевной щедрости, ни намека на добрые порывы, если говорить об истинных чувствах, а не о внешних проявлениях, нет и не было у Щербакова.

Дневник, оказывается, удобная штукавина! Познакомился с Артемьевой, приглянулась — не нужно расходовать силы на прельщение, протягиваешь ей дневник (это через два-три дня после знакомства), пусть убедится, какого масштаба особа ей досталась — свой человек на Олимпе, и дело сделано Ольга покорна!

Как ни вертись, а нельзя не сказать Наде, что бросает ее и ребенка, бросает тогда, когда она этого никак ожидать не могла, хочешь не хочешь, а не избежать долгих объяснений, и тут дневник незаменим. Прочтет его Надя и найдет список своих грехов и узнает, что муж ей ничего не прощал, только говорил о прощении.

Да, это верно: никогда не прощал. А все ласковые слова говорились только потому, что обеспечивали сразу две возможности: вызывать восторг и преклонение до тех пор, пока живет с Надей, и право уйти, обвинив во всем Надю, обвинив так, чтобы она не смела ни в чем упрекнуть, как только его к другой потянет.

Это не домысел, не чтение мыслей, нет. Щербаков, разъясняя свои записи, сам показал в суде:

— Как только я узнал, что у Нади есть ребенок, я решил с ней расстаться.

Его спросили:

— Если вы решили расстаться, то зачем настаивали на том, чтобы Леню привезли в Ленинград? Ребенок-то ведь и по-вашему перед вами ни в чем не виноват. Зачем вы, зная, что оставите жену и ребенка, уверяли, что будете отцом Лене? Для чего вы писали родителям вашей жены, что Леня вам дорог и вы себя чувствуете счастливым отцом? Объясните, зачем вам была нужна такая неправда, и неужели вы не понимали, что она может привести к беде?

У Щербакова был готов ответ:

— Меня обманули, а обмана я не могу простить.

Что подлаешь, привык наш Антей к «борьбе с открытым забралом».

Итак, все добрые слова и внешне добрые поступки были все-го-навсего косметикой, утолением жажды красиво выглядеть. На поверку все оказалось не чем иным, как, говоря словами свидетеля Колесова: «стремлением насолить и выглядеть честным». Только одно и руководило Щербаковым: плюгавенькое и вместе с тем непреборимое кокетство, желание произвести впечатление и вызвать восторг и умиление. Не важно, какой ценой придется расплачиваться тому, в ком хоть на время он вызвал восторг. Вызвал, понаслаждался, чтобы затем показать свое настоящее лицо, если... если это окажется нужным.

Судьи, прокурор и адвокат не позволяли себе сделать какие бы то ни было выводы во время судебного разбирательства. Нравоучений не читали, были заняты своим прямым и нелегким делом: выясняли возможно полнее и точнее, что за люди Надежда и Владимир Щербаковы, докапывались до самой сердцевины их отношений, стремились вскрыть истинную причину преступления. И именно поэтому судебное разбирательство подводило тех, кто слушал дело, к раздумью над сложными нравственными проблемами. А проблема была непростая: так ли уж важно, из каких побуждений помогал в свое время Щербаков жене? Так ли уж необходимо, чтобы доброе дело совершалось из добрых чувств?

Что бы там ни чувствовал Владимир Щербаков, как бы в глубине души ни относился к Надежде, он — этого ведь нельзя отрицать — подарил ей пять лет счастья, научил ее радоваться жизни, дал ей силы и работать и учиться. Разве этого мало? За что его упрекать?

И примечательно, как верно и тонко аудитория (не без помощи суда) нравственно расценила и осудила Щербакова, и не только за то, каким он показал себя после встречи с Армьевой, а за душевную фальшь, в которой так естественно и свободно ему жилось все эти пять лет.

Когда эта фальшь обнаружилась — а сейчас будет видно, как это случилось, — то стало ясно, что Щербаков отнял у жены не только будущее, но и то единственное, что у нее еще могло остаться: отнял у нее и прошлое. Теперь все то хорошее, что было у нее с Владимиром, оборачивалось болью и унижением,

Если бы чувства Щербакова к жене не были дешевеньким эрзацем, не были мелкой монетой для оплаты восторга перед собой, разве не нашел бы он в себе сострадания к Наде, деликатности в объяснениях? Надя бы горевала, исходила бы мукой, но мир бы не рушился, не потеряла бы она веры в человека. Но Надя больше была не нужна Щербакову, ему незачем было притворяться перед ней, теперь он мог быть с ней самим собой. И он показал себя, не заботясь о прикрасах.

Щербакова тревожило, что Надежда беременна. Она отказывается прервать беременность. Что же, он заставит ее это сделать! Чего бы это ни стоило! Она должна знать, чувствовать, ни на минуту не позволяя себе на что-либо надеяться, что она стала для него не только совершенно чужой, посторонней, но просто пустым местом, ничегоньки не значащим в его жизни. Никакие ее переживания, ничего, что бы с ней ни случилось, его никак и нисколько не касается, не трогает, даже не занимает.

В октябре Надежда Щербакова тяжело захворала. Она была госпитализирована, за исход ее болезни врачи серьезно опасались. Лечащий врач не только позвонил по телефону, но и пришел к Щербакову, убеждая его, что для выздоровления Надежды просто необходимо, чтобы муж навестил ее, проявил хотя бы минимальное внимание. На худой конец пусть напишет ей. Щербаков выслушал врача и ничего не сделал. Не пришел, не прислал ни строчки: пусть знает, что она ему окончательно и бесповоротно чужой человек. Больше ничего их не связывает.

На суде выяснилось еще одно обстоятельство. Оно было как будто незначительное, но так ведь бывает, что иная мелочь потрясает больше, чем извержение вулкана, и открывает в человеке то, что не замечено за годы совместной жизни. Уходя 6 ноября, чтобы провести праздники с Армьевой, Щербаков отобрал у Лени, которому он обещался быть отцом, те книжки, что он подарил ему, отобрал уцелевшие игрушки. Книжки и игрушки понадобились Щербакову, чтобы подарить их ребенку Армьевой. И его не остановило горе ребенка, полные расте-



рянности глаза Лени. И его не смутило, что делал он это в присутствии Нади. Что ему до них! До этой женщины и ее сына!

Надежда Щербакова не сказала ему ни слова в упрек. Она и на Артемьеву зла не держала, да и что ей сейчас Артемьева! В течение пяти лет Щербаков был для нее олицетворением всего лучшего, что есть в человеке. Каким одухотворенным, несказанно благородным — особенно после Василия Гулько — ей виделся Щербаков! И чем полнее и глубже был ее восторг перед Щербаковым, тем страшнее и непереносимее было то, что открылось в нем.

В судебном зале понимали, как тяжка и необорима беда Надежды Щербаковой; понимали, что в горестно-пустой квартире в бесконечно тянущиеся дни, которые для всех были особо праздничными и светлыми, это ощущение беды непрестанно росло, ширилось, углублялось. Но сострадание Надежде, столь естественное, нисколько не заслоняло сознание ее вины.

К счастью, Надежда Щербакова не причинила реального вреда тому, над которым она занесла топор. Можно даже допустить, что четкого умысла убить Владимира Щербакова у нее не было. Но не отстранись он — и могло произойти непоправимое. И в судебном зале отчетливо понимали: как бы ни было велико и остро горе, оно не может оправдать преступления.

Но вместе с тем суд над Надеждой Щербаковой был и судом над Владимиром Щербаковым. Судом по строгой и высокой нравственной мерке. И это был не менее важный результат судебного разбирательства, чем приговор, вынесенный Надежде Щербаковой.

## ДОВЕРИЕ

При слушании дела в суде, казалось бы, не может возникнуть вопроса: допустимо ли вмешательство в чужую жизнь. Судебное разбирательство по самой сути своей всегда вторжение в чужую жизнь. Но тут ничего не поделаешь. Чтобы вынести поистине справедливый приговор, необходимо добраться до самой сокровенной сути тех, кто стоит перед судом.

И случается: на всеобщее обозрение выносятся и такое, что подсудимый прячет от постороннего взгляда. Не из страха, а только потому, что оно настолько глубоко личное, что публично открываться в нем противоестественно, как противоестественна исповедь на площади. Раскрой в суде человек все то, что у него на душе, и дело пошло бы к лучшему. Но он молчит. А молчание может привести к судебной ошибке.

Подсудимый открылся своему защитнику. И тому ясно, что защитить подсудимого, защитить в полном соответствии с правдой и законом можно только в том случае, если суд узнает то, что знает адвокат. Вправе ли адвокат открыть то, что ему было доверено как тайна? Что сделать ему, когда он вплотную сталкивается в суде с дилеммой: выполнишь волю подсудимого, скроешь то, что тебе известно, — и невиновный будет осужден, нарушишь молчание, а это значит нарушишь доверие, и человек будет спасен. Нет, не так, человек, возможно, будет спасен, уверенности нет, а доверие ты обманул. Решайся!

...В тихом пригороде, где входные двери если и закрывались, то потому, что опасались сквозняков, а не воров, в этом тихом пригороде был совершен бандитский налет. За ним другой. Третий. При втором налете бандиты тяжело ранили хозяйку квартиры. Преступный «почерк» всех трех налетов тождествен: бандитов двое, один из них высоченный, оба вооружены пистолетами, ворвавшись, ставят всех, кто в квартире, лицом к стене, и уносят награбленное в чемоданах хозяев. Городок охватила паника. Прибыла бригада областного Угрозыска. Налеты прекратились. А вскоре стало известно, что и преступники пойманы.

Сергей Чурков и Валерий Казанюк были арестованы.

Преступление было раскрыто, как считали оперативные работники, довольно легко. Соседка по дому, зайдя к Гале Чурковой, жене Сергея, увидела на ней обновку: оренбургский платок. Рассматривая обновку, соседка едва не вскрикнула: посреди платка дырка — нерадивая хозяйка прожгла. А соседка была наслышана: оренбургский платок с дыркой был отобран при одном из налетов. Соседка кое-как досидела свое, чтобы не вызвать подозрений, а выйдя от Чурковых, опростетью в милицию. При обыске у Чурковых ничего подозрительного, если не считать платка, не было обнаружено. Да и платок, хоть и с приметой, не такая уж верная улика. Женщина, у которой забрали платок, хоть и признала его своим, но не без колебания: «Дырка, кажется, была в другом месте».

Во время обыска к Чурковым припожаловал Казанюк — был он на голову выше Сергея; невольно и подумалось: а второй-то из бандитов был высоченный.

Казанюк и Чурков служили на одном предприятии, приход Валерия не должен был вызвать подозрений, но в кармане у Казанюка был обнаружен ключ от замка, на который запирался чердак. Казанюк объяснил, что он только две недели как выехал из дома, где живет Чурков, в спешке не успел отдать ключ. Такие же ключи имеют и другие жильцы.

Когда сотрудники милиции поднялись на чердак, они обнаружили там большую часть награбленного, упрятанного в сундук, принадлежавший Чуркову. Оренбургского платка там не оказалось.

И платок с дыркой, и ключ от чердака, и припрятанные там вещи — все это уже само по себе не так мало. А тут еще добавилось: у Чуркова и у Казанюка было по пистолету, точно таких же, какими бандиты угрожали потерпевшим. Правда, пистолеты неопровержимой уликой считать нельзя было, и Чурков и Казанюк служили в охране, и по должности им оружие полагалось. Но уж очень много неблагоприятных совпадений, чтобы их можно было считать только совпадениями. И все же неизвестно, как бы обернулось дело, если бы не обнаружилась еще одна улика — главная и решающая. Все потерпевшие показали, что и один и другой бандит прикрывали лицо носовым платком, и поэтому опознать их не могут. Но в одном случае бандит, ростом повыше, обронил платок, и на короткое время открылось его лицо. Его и разглядела та старенькая женщина, которую ограбили последней. Налет был совершен 18 февраля, меньше месяца назад, поэтому потерпевшая отчетливо помнит грабителя. И когда ей предъявили для опознания рослого Казанюка, она признала в нем грабителя.

Очевидно, сознавая, как опасно для него опознание, Казанюк, чтобы опровергнуть его, сослался на то, что 18 февраля он был всю ночь на дежурстве. Это же подтвердила и жена Казанюка. Проверили на службе, и выяснилось: и Казанюк и его жена обманули следствие, не дежурил он 18 февраля. А то, что они еще до возбуждения дела договорились, как обманывать следствие, казалось одним из самых убедительных доказательств вины Казанюка. Плохо обстояло его дело. И, конечно, насколько оно не облегчалось оттого, что Казанюк отрицал свою вину. Отрицал, несмотря на все улики.

На протоколах допроса Казанюк всякий раз, когда ставил свою подпись, писал «лейтенант запаса Казанюк». И в тюрьме он, приведенный ко мне на свидание, представился: «Лейтенант запаса Казанюк». Сказал он это так, как будто его звание от него неотделимо. Мы заговорили о деле, и я стал его расспрашивать о том, как он сам опровергает выдвинутые против него обвинения. Он, несколько не раздражаясь, не оскорбляясь, не смог скрыть удивления: вот, оказывается, еще один нашелся юрист, которому не очевидно, что все это вздор, нелепейший, чистейший вздор. «Я — фронтовик, лейтенант запаса, — отвечал он мне, — понимаете, фронтовик». И этим одним отвергались, отметились, рушились самые на вид грозные и неопровержимые

улики. Бывший фронтовик — и бандитский налет — это несовместимо. И нечего тут объяснять! И нечего тут доказывать!

Привлекательно выглядит мысль: если человек сильно и глубоко чувствует, он найдет живые и яркие слова. Неправда это, хотя и приманчивая. Чаще бывает так: в человеке буйствуют чувства, а слова, как нарочно, подворачиваются тусклые, случайные, рыбы... Вот так и с Казанюком: для него честь фронтовика, офицера, хотя и запаса, была не отвлеченным понятием, а живым, глубоким и неиссякаемым чувством. А говорил он словами уставными и казенными.

Помочь защитнику в опровержении обвинения Казанюк ничем не мог. Но это его несколько не смущало. Не верил Казанюк, несколько не верил в то, что его могут осудить. Такой несообразности быть не может. А если и предъявили ему обвинение и временно в тюрьму посадили, то это справедливости поколебать не может: суд разберется.

Не видеть опасности — всегда опасно, и я стал доказывать Казанюку, что дело в суде пойдет совсем не легко, что предстоит трудная, очень трудная борьба за то, чтобы правда раскрылась, и к ней надо подготовиться. Казанюк слушал меня скорее удивленный, чем встревоженный.

— Но вы-то верите, что я не бандит? — спросил Казанюк.

— Верю. Но зачем вы стали говорить неправду про дежурство? — не выдержал я. — Вы ведь знали, что в тот вечер не дежурили.

— Знал, — ответил Казанюк и неожиданно взорвался. — А все оттого, что я — свинья, самая настоящая свинья! Я на него уставился.

— А ведь в том-то вся штука, что люблю я ее так, что нет мне жизни без нее.

Кто это взялся делить людей на заурядных и незаурядных?

Я слушаю то, что рассказывает Казанюк. По первому впечатлению прямодушный, но явно из тех, кто никогда не слышит, как звезда с звездой говорит, и все же, упавший ребенок в прорубь, хорошо бы было, оказавшись поблизости Казанюк: он-то, не раздумывая, бросится спасать.

Вот что рассказал Казанюк.

Около года снимал он комнату. Хозяева были люди хмурые, вечно у них что-нибудь не ладилось, и недовольство свое вымещали на дочери своей Лиде. Было Лиде двадцать лет, некрасивая, к терпению приученная, «она, должно быть, за всю жизнь ни разу не запела», — так сказал о ней Казанюк. От жалости водил ее Валерий в кино. От жалости, должно быть, и сошелся с ней.

А в сентябре прошлого года к Гале Чурковой приехала ее родственница Таня. Как увидел Казанюк Таню, тут и понял все! Никто ему, кроме Тани, не нужен. И у Тани так. Обоих как с горы понесло. Забыл Казанюк и думать о Лиде. До того забыл, что когда съезжал с квартиры, слова не сказал Лиде.

В октябре сыграли свадьбу Валерий и Таня. И хотя уже четыре месяца женат Казанюк, но все еще не верит своему счастью. И нужно же так, чтобы 18 февраля пришла к нему на службу Лида. Ни словом, ни взглядом не попрекнула, а вину свою почувствовал Казанюк: не в том, что ушел, а в том, как ушел. Лида рассказала, что она одна в квартире. Мать и отец уехали на время к сыну. И одного просит она: пусть он сегодня придет к ней, хоть один раз, без оглядки, не крадучись, будь вместе, этого ей на всю жизнь хватит. И такие глаза были у Лиды, что не мог, сделайте с ним, что хотите, не мог он сказать ей: «Уходи!»

— А ведь Таня не простит! — говорит мне Казанюк. — Уйдет! Что мне оставалось делать? Вот я и наврал ей про дежурство. А потом уж никуда не денешься, пришлось и следователю врать.

— Почему? Следователь бы ничего не разгласил.

— Городок-то наш маленький. Вызвали бы Лиду, ее родителей, все узналось бы.

— Скажет Лида правду, если вызвать ее в суд? — спрашиваю Казанюка.

— И не думайте ее вызывать. Не хочу! — почти кричит Казанюк.

Я молчу. Молчит и Казанюк. Мы молчим довольно долго.

— Не простит мне Таня, не вызывайте Лиду, — повторил Казанюк.

Теперь он уже понимает, как страшно может закончиться дело в суде, понимает Казанюк и то, что показания Лиды в суде, пожалуй, единственная возможность спастись, и он отказывается от этой единственной возможности. Отказывается, потому что знает: Таня не простит.

Дело Казанюка и Чуркова слушалось в выездной сессии суда в Доме культуры, не вместившем всех жаждавших попасть на процесс.

По ходу судебного следствия кое-какие улики отпали или заметно ослабли. Оренбургский платок был предъявлен потерпевшей, она его тщательно осмотрела и заявила: не ее платок. Подтвердилось, что ключи от чердака имели и другие жильцы. Сундук Чуркова стоял на чердаке незапертым. И все же это не поколебало основы обвинения: опознание в Казанюке грабителя.

И вот процесс подошел к кульминации: начала давать показания Нина Викторовна Козлова, это она опознала Казанюка. Готовясь к делу, я представлял себе, как смертельно испугалась старая, немощная женщина, когда к ней ворвались бандиты. Где же было ей разглядывать их? Прикажи они ей не спускать с них глаз, она бы со страху не смогла и поднять их. Но как я ошибся!

Нине Викторовне было 63 года — это верно, но ничего в ней не было от старческой слабости. Спокойная, умудренная жизнью, доброжелательная, она вызывала полное доверие к себе. Такая сто раз подумает, прежде чем скажет: «Да, это он!»

Но как же случилось, что хорошая и правдивая женщина признала в Казанюке грабителя?

Путь к ошибке был не очень сложен. Прибыла бригада угрозыска в городок. Грабежи прекратились, вскоре стало известно, что преступники задержаны и награбленное имущество обнаружено. Вера в проницательность и умелость работников угрозыска стала несокрушимой. Поверила и Нина Викторовна. Вызвали ее, показали вещи. «Ваши»? «Мои». А затем ей сказали: «Мы вас введем сейчас в комнату, там будут три человека. Опознайте среди них того, кто грабил». У Нины Викторовны ни малейшего сомнения в том, что один из трех действительно грабитель, не возникло. Вещи-то она уже видела. Значит, отобрали их у грабителя.

Случилось так, что по недосмотру сотрудника, который проводил опознание, двое из предъявленных для опознания были среднего роста, а третий — Казанюк, верзила, косая сажень в плечах. И то, что один из грабителей роста высокого, это хорошо запомнила Нина Викторовна. Вот так «высокого» и «опознала» потерпевшая.

Чтобы показать, как возникла ошибка, начинаю допрос потерпевшей. И с первых же вопросов осечка, и кака! «Вещи, — утверждает Нина Викторовна, — ей показали не до опознания, а после». Сначала опознала Казанюка, а потом увидела вещи.

Не могло так быть. Показав ей вещи до опознания, укрепляли в ней уверенность, что преступник найден.

Вновь и вновь переспрашиваю Нину Викторовну, испытывая терпение судей и слыша осуждающий гул в зале, а потерпевшая твердо стоит на своем: сначала опознала Казанюка, а затем ей показали вещи.

Продолжать сейчас допрос бессмысленно. Но вместе с тем я понимаю, что ничего не сумел сделать для того, чтобы открылась ошибка Нины Викторовны, ее показания ни в чем не поколеблены. Осталось одно только средство, и то не абсолютно надежное, но одно-единственное средство опровергнуть показа-

ния Нины Викторовны: это вызвать Лиду свидетельницей. И сделать это нужно сейчас же, не дожидаясь перерыва.

Я заявил ходатайство о вызове Лиды свидетельницей.

Суд удовлетворил ходатайство, но отклонил почему-то просьбу заслушать ее показания при закрытых дверях.

Это было неожиданностью, которая могла все изменить. Решится ли Лида в присутствии сотен людей, жадно наостривших уши, рассказать правду? Рассказать, понимая, что это обернется для нее осуждением, попреками, презрением, понимая, как ее родные непрестанно в сознании своей правоты будут допекать ее дома. Можно ли требовать от нее такой самоотверженности? Если на вопрос: «Когда вы в последний раз встретились с Казанюком, Лида ответит: «Не помню», — не заставлю ее открыть то, чего она не хочет открывать. Спасти или предать Валерия — это только она сама должна решить.

Лида тихо, из последних сил справляясь с волнением, внятно рассказывала все, как оно было. Единственное, что не сказала, — это то, что сама просила Казанюка 18 февраля прийти к ней.

Прокурор, который и не скрывал того, что считал Лиду подставной свидетельницей, спросил ее в конце допроса, может ли она чем-либо подтвердить свои показания, что встреча состоялась 18 февраля?

Удивленная вопросом, Лида переспросила:

— Подтвердить? Нет, ничем не могу.

И после паузы добавила:

— Разве что письмом.

— Каким письмом? — заинтересовался председатель.

— Оно дома у меня, — ответила Лида.

По поручению суда минут через двадцать Лида принесла письмо. От Казанюка. Письмо было отправлено 19 февраля. Это было видно из штампа на конверте. В письме Казанюк писал: то, что было вчера, никогда больше не повторится, и он просит Лиду к нему не приходиться и не искать встречи.

Так Лида еще раз принесла себя в жертву. И я бы солгал, если бы сказал, что присутствовавшие в зале оценили всю жертвенность этой девушки. Нет, было совсем не так. Теперь, когда ей полностью поверили, ее бурно и открыто презирали, в ней если что и увидели, то только бесстыдство.

Был объявлен короткий перерыв.

И вот теперь я увидел, что натворил.

В зале осталась Лида. Ее, только что такую бесстрашную, никакие силы не могли бы заставить выйти, чтобы встретиться с теми, кто услышал ее исповедь. В зале осталась и Таня. Не поднимая глаз, сцепив руки, выпрямившись — так достойнее

встречать несчастье, — она сидела, окаменевшая. От горя, от стыда, от муки.

Казанюку, его не вывели из зала, сейчас не было дела ни до суда, ни до приговора. Он не сводил глаз с Тани, может быть, хоть на миг они встретятся взглядом, и она поймет его.

Я не посмел подойти к нему.

А что, спрашивал я себя, если Таня в самом деле не простит? Если уйдет от Валерия? Кто за это в ответе, как не я? Подзащитный, человек, которого я уверил, что беру его под свою защиту, доверился мне, открыл тайну, а я обманул его доверие и разбил ему жизнь. Пусть даже из самых добрых побуждений, имел ли я на это право?

И, страшась того, что натворил, я спорил с самим собой: да, больно сейчас Лиде, тяжело, очень тяжело Тане и Валерию, и во всем этом моя вина. Но чего стоит та боль, которую я им причинил, по сравнению с той непереносимой мукой, какая выпала бы на их долю, не вызови я Лиду свидетельницей? Ведь суд мог — и это весьма вероятно — приговорить Казанюка к расстрелу. И если бы так случилось, Таня вправе была бы сказать мне: «Вы предатель! Мой муж доверил вам свою жизнь, вы могли спасти его и не сделали этого. Вы, защитник, допустили, чтобы был осужден невиновный, и оправдываетесь, что сделали это... ради моего покоя. Как вы посмели думать, что мне легче будет перенести смерть Валерия, чем узнать о 18 февраля?»

Умалчивая об обстоятельствах, которые закономерно ведут к оправданию невиновного, причиняя непоправимый ущерб своим молчанием подсудимому, разве не совершает нравственного преступления защитник, которое не уменьшается оттого, что он это делает по воле подсудимого?

В таком или ином порядке шли тогда мои мысли, сейчас, конечно, не скажешь: вероятно, в изложение привнесено немало из того, что потом думалось.

Когда возобновилось судебное заседание, Нина Викторовна была дополнительно допрошена. Чтобы помочь ей вспомнить, когда в самом деле происходило предъявление вещей, судья предложил, чтобы она мысленно прошла всю дорогу от ее дома до отделения милиции, где находились вещи. Нина Викторовна и стала рассказывать: вышла из дому, пошла по Первомайской, потом по Тургеневской, потом свернула направо, на Московскую, подошла к милиции, взшла на несколько ступенек, с ней был сопровождающий, он шел немного впереди по коридору, они прошли мимо одних, других дверей...

— Ох, господи, верно ведь, сначала меня ввели в комнату,



где лежали вещи, — охнула Нина Викторовна, смутившись оттого, что раньше невольно говорила неправду.

— Если бы вам предъявили трех высоких, а не двух человек среднего роста и одного высокого, вы смогли бы с уверенностью опознать Казанюка?

Нина Викторовна не торопилась с ответом. Не хотела выгораживать, но и зря обвинять не могла.

— Не знаю, — ответила она и повторила. — Не знаю.

Прокурор не поверил показаниям Лиды. И письмо Казанюка, несмотря на всю доказательственную силу, не убедило его в бесспорности алиби подсудимого. Он считал, что вся совокупность доказательств изобличает обоих преступников, но признавал, что осуждение Чуркова в значительной мере зависит от того, как решит суд судьбу Казанюка.

Прокурор потребовал для Казанюка строжайшей меры наказания, ведь ему вменялось и нанесение опасного для жизни ранения при втором налете. Защита утверждала, что и Чурков и Казанюк невиновны и их следует оправдать.

Часов около 11 ночи суд удалился на совещание. И хотя было ясно, что приговор будет вынесен за полночь, никто не уходил домой.

Час ночи. Два. А суд все не выходит. Три часа ночи. Суд не выходит. И еще более тревожным делается ожидание. Если долго совещаются, значит, не поверили алиби: если бы поверили, то о чем так долго совещаться?

В зал вновь ввели подсудимых. Нелегко далось им ожидание приговора. Всего несколько часов, а как изменились лица. Это все увидели. Кроме Тани. Она сидела по-прежнему, опустив глаза. Звонок. Выходит суд. «Оглашается приговор», — объявил председатель. А когда прочел: «Казанюка и Чуркова оправдать», в то же мгновение, вскрикнув, все забыв, не помня себя от счастья — Валерию больше не грозит опасность, — Таня метнулась к мужу и замерла возле него. И, как сказано у Гоголя, «весь миллион народа в одно время вздрогнул». Зал неистово аплодировал. Не то справедливому приговору, не то великодушию, рожденному любовью.

Вынося оправдательный приговор, суд указал на то, что следователь, ведший дело Казанюка и Чуркова, повторил нередко встречающуюся ошибку: он исследовал одну только версию, наперед признанную верной.

Вскоре правильность указаний суда подтвердилась. Подлинные преступники, никак и ничем не связанные с Казанюком и Чурковым, были разоблачены и осуждены.

## СО ДЕРЖАНИЕ

Только ли свидетели? . . . . .	3
С чего началась беда . . . . .	11
Простое дело . . . . .	21
На двух плотях . . . . .	28
Доверие . . . . .	39

**Яков Семенович Киселев**

### СУДЕБНЫЕ БЫЛИ

Редактор **М. М. Жигалова.**

---

Технический редактор **Я. М. Борисов.**

---

Сдано в набор 12.03.80. Подписано к печати 10.06.80. А 00379.  
Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага газетная. Гарнитура «Новогазетная».  
Офсетная печать. Усл печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,02.  
Тираж 100 000 экз. Изд. № 1526. Зак. 2123. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография  
газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-137, ГСП,  
ул. «Правды», 24.





Загрязнившаяся одежда плохо пропускает воздух, не удерживает тепло, на ней скапливаются болезнетворные микробы. На предприятиях химчистки с одежды удалят пыль и пятна, пропитают ее бактерицидным составом. После обработки антистатиком одежда станет лучше отталкивать частицы пыли, а аппретирование придаст ей водоотталкивающие свойства.

**ЛУЧШИЙ СПОСОБ ВОССТАНОВИТЬ  
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОДЕЖДЫ —  
ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА.**

